ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ



*На великих стройках
нашего времени
с особой силой
проявились стойкость,
созидательный порыв, идейная закалка
советской молодежи.
Продолжая славные традиции
своих дедов и отцов,
комсомольцы, девушки и юноши
идут в первых рядах
строителей коммунизма,
мужают в труде,
учатся управлять хозяйством,
руководить делами общества
и государства.
В их руках — будущее страны.
И мы уверены — это надежные руки.*

Л. И. БРЕЖНЕВ.
(Из доклада «Великий Октябрь
и прогресс человечества»)

Журнал
основан
в
1955
году

12

(271)
ДЕКАБРЬ
1977

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Марк ГРИГОРЬЕВ



БЕЛЫЕ НОЧИ УСТЬ-ИЛИМСКА

Фото А. ГОРЕЛОВА.

Как только зацвела черемуха, побелели ночи над городом, погода установилась сухая и жаркая. Взбираясь по серпантинам дорог от Ангары в гору, к камнедробильному заводу, КрАЗы и тупорылые с высокозадранными башенками-кабинками БелАЗы поднимали такую пылевую завесу, что люди невольно задерживали дыхание. Змеились очереди у бочек с надписью: «Морс». К вечеру от реки наползал туман, вытесняя жару куда-то вверх, прибивая, придавливая к земле поднятую за день бесчисленными колесами пыль. В полночь еще можно было читать, не зажигая света.

В конце июня в промтоварный магазин на Нагорной улице завезли венгерские босоножки на танкетке, обтянутой джинсовой тканью. На следующий день все женское население города вышло на улицы в красно-синей обувной униформе: в Усть-Илимск попали босоножки только одного артикула и расцветки. Неисповедимы пути снабженческие и помыслы людей, движущих по ним товары. Не сразу привыкаешь не удивляться загадочным явлениям торговой природы, когда товары, предназначенные, допустим, для среднеазиатских районов, в большом количестве лежат на полках магазинов Крайнего Севера. Помню, как я поразился, увидев возле клуба в поселке Новый Уоян на БАМе пятерых девушек, одетых в одинаковые японские синтетические куртки «под дубленку». Куртки на всех были коричневые с белой оторочкой, и мне все казалось, что девушки — близнецы.

В том же Уояне магазин был завален в конце осени мужскими складными зонтиками, а теплого нижнего белья в продаже не имелось, хотя морозы уже перевалили за 20 градусов...

Через неделю после босоножного бума население Усть-Илимска повалило в книжный магазин: поступила новинка — увесистая книга альбом «И. Левитан. Жизнь и творчество». Может, потому, что сибиряки соскучились по среднерусскому пейзажу, которому отдавал предпочтение великий художник, может, по каким другим причинам, но Левитана брали бойко, хотя издание стоило недешево. Некоторые брали даже по два-три экземпляра, вероятно, имея в виду друзей и знакомых.

Белые ночи напомнили усть-илимцам, что настала пора отпус-

ков. Маленькое помещение аэропортовского зала ожидания оказалось набитым до отказа, будто все вдруг сорвались с мест и пожелали умчаться от ледяной Ангары к теплому южному морю. Детвора уехала в свой лагерь «Веселая планета», а вчерашние школьники, получившие аттестат зрелости, целую ночь гуляли по плотине Усть-Илимской ГЭС.

Говорили, что в это самое время год назад болгарский шофер Илиан по прозвищу «Василий Иванович» сделал себе татуировку: «Ангара — родная мама». А может быть, только хотел сделать, вдохновленный непривычными белыми ночами. Во всяком случае, слух такой прошел, а видеть у Василия Ивановича сибирскую татуировку мне не довелось, врать не буду. В остальном же Усть-Илимск продолжал свою хлопотливую жизнь города трех Всесоюзных ударных комсомольских строек: на правом берегу Ангары поднимался белокаменный Новый город, заканчивался монтаж последних четырех агрегатов гидростанции, набирала силу одна из крупнейших строек СЭВ — Усть-Илимский лесопромышленный комплекс.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УСТЬ-ИЛИМА

В Восточной Сибири никто Усть-Илимск не называет Усть-Илимском.

— Где живешь?

— На Усть-Илиме.

— Куда летишь?

—В Усть-Илим.

Даже композитор Пахмутова, побывав на Ангаре, написала песню с крепко застрявшим в памяти рефреном: «Усть-Илим...»

Люди, не бывавшие в тех местах, если их спросить: «Что вы знаете о городе у впадения Илима в Ангару?» — вряд ли сумеют пространно ответить на такой вопрос. Ну, припомнят, что там строили ГЭС «почти как Братскую, только больше, мощнее. Или меньше чуть-чуть, разве все упомнишь... Столько сейчас строится в Сибири...»

Что и говорить, строек-гигантов за Уральским хребтом сейчас так много, что пальцев обеих рук не хватит их сосчитать. И дело совсем не в людском любопытстве, а в размахе освоения новых районов, в «шагах саженьих» нашей промышленности. Где тут уследить за все новыми и новыми красивыми флажками ударных объектов на карте страны. И все-таки Усть-Илимск заслуживает того, чтобы его биографию знали не понаслышке.

Прежде всего это одна из самых коротеньких по времени биографий даже среди городов, как говорится, последнего поколения. Еще десять лет назад в городе — тогда это был поселок — проживало меньше тысячи человек. Сейчас население увеличилось до шестидесяти тысяч и продолжает стремительно расти: предполагаемый на заключительные годы десятой пятилетки прирост составит 10 тысяч человек ежегодно. При этом город, «взрослея», будет все больше «омолаживаться». Так, если сейчас средний возраст жителя Усть-Илимска—26 лет, то к 80-му году он понизится до 23 лет. Это первый параграф «визитной карточки» молодого города на Ангаре, устойчивая черта его «характера».

Вторая не менее важная примета обусловлена самим месторасположением Усть-Илимска в той части Сибири, которая получила название Братско-Илимского территориально-производственного комплекса (ТПК). Что такое ТПК? Чтобы понять это как следует, надо по меньшей мере окончить два института, быть экономистом, математиком, инженером, уметь прочитать математическую модель ТПК и, конечно, иметь практический опыт работы в данном регионе. Если же объяснять непосвященным, широкому кругу людей, как говорится, на пальцах, то можно сказать так: Братско-Илимский ТПК — это развивающийся регион, где проблемы, связанные с использованием природных ресурсов, созданием энергетической базы, с миграцией, подготовкой кадров, закреплением людей, строительством городов, охраной окружающей среды,— все эти проблемы решаются комплексно. Подобный подход к освоению крупнейших районов предполагает качественно новые формы территориальной организации производительных сил, новые формы взаимодействия между региональными и отраслевыми организациями. Братско-Илимский ТПК — прекрасный пример системного подхода к освоению громадных территорий в экстремальных условиях Сибири. Но сегодня ученые-экономисты считают рамки подобного ТПК уже тесными, называя, как один из возможных вариантов расширения границ ТПК, Ангаро-Енисейский регион. Трудно даже представить себе масштабы работ на такой громадной территории от Байкала до побережья Ледовитого океана. Гигантский, поистине сибирский размах освоения ощущаешь в вычислительном центре «Братскгэсстроя» — строительного управления, возводившего ГЭС, а теперь являющегося главным подрядчиком при строительстве всех крупных предприятий ТПК. Сейчас в вычислительном центре монтируется новая ЭВМ ЕС-1030 — машина третьего поколения. В Усть-Илимске заканчивается строительство филиала автоматизированной системы управления. Здесь будет установлена машина с целевой задачей — планировать и следить за выполнением бетонных, земляных, монтажных работ на всех объектах Усть-Илимского промышленного узла.

И, наконец, третья, характернейшая примета Усть-Илима — социалистическая интеграция, обретшая здесь, в городе на Ангаре, конкретное содержание: совместный труд молодых строителей четырех стран. Фигуральное выражение «плечом к плечу» понимается тут буквально, потому что плечом к плечу идут на работу советские, болгарские, венгерские и немецкие ребята.

В первом полугодии 1979 года должны начать действовать основные объекты Усть-Илимского лесопромышленного комплекса (ЛПК), в сооружении которого участвуют страны — члены СЭВ. Корпуса будущего ЛПК уже поднимаются на правом берегу Ангары. Это гигантский комбинат по механической и химической переработке древесины. Усть-Илимский ЛПК будет давать ежегодно свыше миллиона тонн пиломатериалов, древесностружечные плиты, более полумиллиона тонн товарной целлюлозы. Здесь же из отходов производства предполагается получать древесный спирт, фурфурол, канифоль, дрожжи. Проектанты запланировали АСУ технологического управления производством, на промышленных стоках будет применено осветление, чем в значительной мере будет решена проблема сохранения экологического равновесия в бассейне Ангары. Одним словом, при строительстве и эксплуатации ЛПК будут применены технические, технологические и организационные новинки. И все-таки плоды совместного труда людей из стран социалистического содружества мало взвесить на беспристрастных весах производственных показателей, технических новшеств, договора об интернациональном социалистическом соревновании. Гораздо важнее та атмосфера дружбы и сотрудничества, которой буквально пронизана вся

жизнь города, тот не всегда приметный глазу процесс познания человека человеком.

Можно назвать чисто внешние приметы сотрудничества интеротрядов. Например, звено Василия Романенко целый месяц работало в венгерской бригаде Имре Киша. А венгерская бригада в это же время перешла под начало Игоря Воронкова. Можно вспомнить совместные конкурсы профессионального мастерства, фантастический рекорд венгерского штукатура Ласло Одора, который выполнил однодневное задание на 600 процентов, или самоотверженность шоферов из болгарской бригады имени Александра Димитрова-Сашо: вместо плановых 164,7 тысячи тонно-километров они наездили 226,3... Но и проценты и тонно-километры не расскажут о том, как научились болгары, немцы, венгры, советские рабочие на Усть-Илиме понимать друг друга, обзавелись друзьями и любимыми, как были покорены суровой красотой Сибири, как новыми глазами взглянули на наш земной шар, который не так уж велик, как поняли не только умом, но сердцем, что мир надо строить сообща. На Усть-Илиме я встречался с десятками людей из интеротрядов. Эти встречи происходили на площадках строящегося ЛПК, в общежитиях, на стадионе, в рабочих столовых, в молодежном клубе «Гренада» и за ухой на берегу Ангары. Три человеческие судьбы показались мне не то чтобы самыми интересными, а скорее типичными судьбами «заграничных» строителей ЛПК. И я хочу рассказать читателю три истории, первая из которых будет называться

АНГЕЛ-СПАСИТЕЛЬ

С Валентином Цанковым мы летели на маленьком АН-2 из Братска. Рейс долго откладывался из-за непогоды, так что вместо семи утра вылетели только в два часа дня. Как только набрали высоту, большинство пассажиров начали дремать, сморенные долгим ожиданием. Мое место оказалось рядом с Валентином. Он сидел у иллюминатора и, отодвинув шторку, неотрывно смотрел на бесконечные просторы тайги.

— В Усть-Илим? — спросил он меня, вероятнее всего, для знакомства, потому что на этом самолетике ни в какое другое место попасть было невозможно: единственным и конечным пунктом назначения был Усть-Илимск. Я кивнул утвердительно.

— Первый раз? — снова обернулся ко мне Валентин, заметив, что я навис у него за плечом, всматриваясь в прихотливые выкрутасы Ангары, будто улыбавшейся под долгожданным солнцем в зеленых объятиях тайги.

— В первый,— вновь кивнул я.— На ЛПК хочу побывать...

— На ЛПК?!— Валентин повернулся ко мне всем корпусом.—Так это же к нам! Я работаю на ЛПК. Уже целый год. Сейчас возвращаюсь из Болгарии — в отпуске был. В горы ходил, грелся на солнышке. Хорошо дома: мама, отец, сестра... Соберемся вечером на кухне — долго сидим. Они меня все о Сибири расспрашивают. Особенно Илиана, сестра. Она преподавателем в техникуме работает. Говорит: «Я должна все знать, чтобы ученикам рассказывать интересней...»

Валентин вдруг спохватился, что мы еще незнакомы, попытался привстать, чтобы представиться, но не смог оторваться от кресла, притянутый ремнями безопасности.

— Забыл про ремни,— рассмеялся он и протянул крепкую, в шершавинках мозолей ладонь.— Валентин Ангелов Цанков, по-нашему, Валентин Ангелович... А это Атанас,— показал он на задремавшего в кресле позади нас крупного молодого мужчину.— Мы вместе в отпуск ездили. Теперь Атанас жену с собой везет. Она еще к сибирским расстояниям не привыкла: из сил выбилась, пока шесть тысяч километров сделали от Москвы до Братска. Ничего, привыкнет. А Атанас теперь передовиком станет: когда жена кормит и ласкает, на работе горы своротить можно... Так он ее родителям в Болгарии говорил, чтобы отпустили дочь в Сибирь.

Валентин снова повернулся к иллюминатору. Картина внизу изменилась. Теперь мы летели над необъятной водной гладью, лишь по далеким берегам опушенной мягкой зеленью сосен, которые с высоты напоминали этакий добродушный декоративный кустарник.

— Море,— постучал Валентин Ангелович пальцем по стеклу,— Усть-Илимское водохранилище. Скоро будем дома...

Он так и сказал: «...будем дома»,— и я потом еще не раз слышал от него «у нас в Усть-Илиме», «на нашем ЛПК», «там, в Болгарии» и «здесь, дома».

Внизу показались аккуратные порядки домиков. Я вопросительно посмотрел на Валентина.

— Нет, это не Усть-Илим. Поселок Железнодорожный. Теперь до нас уже совсем близко. Сейчас и ЛПК и город будет видно, как... — Он запнулся, подбирая нужное выражение, повернул левую руку ладонью вверх и закончил: — как на руке.

Минут через десять он уже только восклицал восторженно: «Ух, как Новый город вырос! А на целлюлозном перемены! Вон те конструкции красного цвета, когда я улетал, только начинали устанавливать. А теперь! Атанас, да проснись же ты! Смотри, дорогу бьют напрямую от Нового города к ЛПК. Километров пять-шесть экономить будем на этом маршруте!..»

С самолета и впрямь все было видно как на ладони. И обе части города на берегах Ангары, и бесконечный поток машин на мосту, и величественную дугу плотины Усть-Илимской ГЭС. Когда наша «Аннушка» пошла на посадку, Валентин успел показать мне и свое общежитие — красивую девятиэтажку на крутой улице, которая так и называлась: Нагорная.

— Спросишь «болгарское» общежитие,— добавил он, поясняя, как его найти.— Рядом «венгерское», они похожи, не перепутай. А около нашего — газетный киоск. Я на четвертом этаже живу. До свидания...

Прошло три дня, а я все никак не мог собраться навестить Валентина. Правда, за это время мне удалось узнать очень много интересного о болгарском молодежном отряде имени Георгия Димитрова. Например, что в отряде—сто человек, 80 из них работают на машинах марки КрАЗ-256«б», 6—на могучих БелАЗах, 5—водители автобусов. Узнал я, что 20 бойцов отряда—члены Болгарской коммунистической партии, а 76 человек — члены Димитровского комсомола. Отряд разбит на четыре бригады, каждая из которых носит имя героя: Юрия Гагарина, Альберто Корвалана, Александра Димитрова-Сашо и Александра Матросова. Оказалось, что пять человек учатся заочно в Институте народного хозяйства в Иркутске, а двое — в Иркутском политехническом. А футбольная команда болгарского отряда не раз вступала в единоборство со сборной Усть-Илимска.

Познакомился я за это время и с руководителями отряда. Троих — командира, начальника смены и механика — звали Стефанами. Чтобы не перепутать, о ком идет речь, их называли в соответствии с комплекцией и ростом: Большой Стефан, Средний Стефан и Маленький Стефан.

Как-то я сказал Маленькому Стефану — механику Караиванову, что собираюсь в гости к Валентину Цанкову.

— Хороший парень! — отозвался Караиванов.— Он любит, когда его называют Валентином Ангеловичем, но на самом деле его следовало бы называть ангелом-спасителем: кто знает, что было бы с его другом Атанасом, если бы не Валентин...

Я попросил Стефана рассказать эту историю и вот что услышал.

5 января Валентин выехал утром в обычный рейс: Камнедробильный завод — ЛПК. Миновав мост через Ангару, он выбрался на прямой участок правобережной трассы, ведущей к комбинату, и прибавил газу. На этом отрезке пути шоферы обычно нагоняют время, потерянное на зигзагах, спусках и подъемах левого берега. Возле деревянного указателя-стрелки «Таежная подстанция» стоял на обочине автобус ПАЗик. Увидав знакомый номер, Валентин хотел было притормозить, чтобы поприветствовать своего друга Атанаса Кокудева, того самого Атанаса, который летел с нами в самолете из Братска вместе с женой. Но, взглянув на часы, Валентин прикинул, что если он перекинется словом с Атанасом, то до обеда не успеет сделать еще два рейса. «Вечером встретимся»,— подумал он и проехал мимо автобуса, не сбавляя скорости. И уже когда машина была на расстоянии метров ста—ста пятидесяти от указателя «Таежная подстанция», Валентин, не вполне сознавая, почему он это делает, вдавил правой ногой педаль тормоза до упора. КрАЗ взбрыкнул слегка, но двенадцать тонн гравия не дали ему пойти юзом, а прочно вдавили колеса в серый снег обочины. Спрыгнув с подножки, Валентин побежал назад, все еще не понимая, зачем надо бежать, но уже твердо уверенный, что необходимо спешить, что с Атанасом случилась какая-то беда.

Автобус стоял, как-то неестественно скособочившись на одну сторону, а под ним, раскинув руки, лежал вдавленный в снег нижним краем кузова Атанас. Атанас кричал, но звук его голоса был низким и хриплым: видно было, что грудь ему придавило основательно. Только теперь Валентин осознал причину своей «автоматической» остановки, причину беспокойства, появившегося в тот момент, когда он миновал автобус друга. Из своей кабины он не мог видеть придавленного Атанаса, но в мозгу отпечаталась странная картинка: «клюнувший» носом автобус и рукавицы, лежащие на снегу. Видно, Атанас сбросил их, когда лез под автобус, чтобы сподручнее было работать, а сейчас он греб посиневшими руками снег, но дотянуться до них не мог, намертво прижатый осевшей машиной.

Первое, что сделал Валентин, это надел свои теплые рукавицы на закоченевшие руки Атанаса—как-никак 35 градусов мороза! Потом полез под автобус. Все было ясно с одного взгляда. Спустило, как говорят шоферы, левое переднее колесо. Атанас стал менять его, но головка домкрата соскользнула, корпус «кувыркнулся», придавив шофера и съехавший набок домкрат. Валентин решил было сбегать за своим, но понял, что надо будет долбить углубление в заледеневшей дороге, иначе домкрат не подведешь. А такая долбежка займет кучу времени. Что делать? Он попытался тащить Атанаса за плечи, но тот застонал от боли. Тогда Валентин выскочил на середину дороги и широко расставил руки, словно желая поймать идущие навстречу машины. Перед ним затормозил огромный автобус. По счастью, в нем оказалось восемь человек. Они поднатужились и приподняли передний край ПАЗика, а Валентин осторожно вытащил за плечи друга...

На следующий день мы договорились встретиться с Валентином на дороге, проходящей мимо нового стадиона. Ровно в 10 часов старенький КрАЗ 46-66 ИРЭ затормозил около меня, и водитель гостеприимно распахнул дверцу.

— На днях обещают новую машину дать,— сказал Валентин, когда мы поехали.— Эта совсем уже... бабушка...

— Старушка,— поправил я.

— Старушка, старушка,— засмеялся Валентин,— а есть все равно просит. Давай заедем на заправку.

Целый день мы ездили тем самым маршрутом «Камнедробильный завод — ЛПК», которым Валентин Цанков вел свой грузовик в тот памятный день 5 января. Двадцать километров — туда, двадцать — обратно. День был жаркий, и Валентин снял с себя рубаху, остался в одной маечке. Я все порывался спросить, чем же закончилась история с Атанасом, но никак не находил повода.

— Это что́ за рукавица? — показал я на овчинную варежку, надетую мехом наружу на рукоятку ручного тормоза.— Боишься руки обморозить?

— Талисман,— сказал Валентин серьезно.— Атанас подарил...

— В январе, когда ты его спас? — проявил я свою осведомленность.

— Уже рассказали?! Не я спас, а те восемь человек, что вовремя подоспели: замерзнуть мог. А я, правда, выручил Атанаса, но в другом. Когда его повезли в больницу, я сменил то несчастное колесо и отогнал автобус в гараж. Вот за это и получил варежку-талисман... Да, это все дела прошлые, зачем вспоминать. Ты мне лучше скажи, почему на правом берегу дорога хорошая, а на левом ни к черту? Правильно я по-русски выразился?

— Правильно, правильней не скажешь. А объясняется все очень просто: у этой дороги два хозяина. Всей правобережной стороной города занимается Министерство целлюлозно-бумажной промышленности, а левобережная — в ведении Министерства энергетики и электрификации. А у двух нянек ребенок всегда без глазу остается. Я понятно выразился?

— Понятно,— засмеялся Валентин.— Только почему так получается, непонятно...

Во время последнего рейса нам несколько раз посигналил ехавший навстречу КрАЗ. За рулем его сидел парень, черная шапка густых волос которого подпрыгивала на каждом ухабе. Когда обе машины остановились, парень открыл дверцу и сразу же высыпал длиннющую тираду с сильным кавказским акцентом.

— Э, брат, почему скрываешься? Артем Сапанджян все глаза проглядел — нет Валентина! Еду на комбинат — нет Валентина, еду в СМУ — нет, еду на Братское шоссе — и там нет. Где пропадал, брат?

— В отпуск ездил, в Болгарию,— ответил Валентин, закуривая.

— Счастливый человек! — Артем не говорил, а кричал, чтоб перекрыть шум работающих моторов.— Маму, папу повидал. Э, брат, столько километров до Усть-Илима добирался — это надо отметить. Слушай, брат, приходи ко мне. Обязательно, ждать буду...

Последние слова он прокричал, уже трогая машину. А мы поехали в гараж: конец смены.

— Чудно человек устроен,— размышлял Валентин по дороге.— Я вот неделю в своем городке пожил и затосковал по Сибири, по людям, с которыми работаю. Мама спрашивает: «Ты что, сынок, не рад, что домой приехал?» Я говорю: «Рад». А сердце на две части разрывается. Последние дни отпуска еле вытерпел. А сейчас каждый день Болгарию вспоминаю. Чудно!





На фото (сверху вииз): 1. Хлебом-солью встречают на Усть-Илиме пополнение веигерских строителей. 2. Комиссар немецкого отряда имени Эрнста Тельмаиа Вольфгаиг Пильц. 3. Шофер КрАЗа из Болгарии Валеитии Цанков. (стр. 6)

1. Ребята из иитеротрядов работают и здесь, в карьере под Усть-Илимском.
2. Люда Андрейковец из Белоруссии и Матэ Йожеф (Венгрия) со своей дочкой. (стр. 7)



67

ЭЛЬБА, КОНЕЧНО, ПОМЕНЬШЕ АНГАРЫ...

В комнате, где живут Вольфганг Пильц и Иохан Крюгер, глаз отдыхает от общежитейского однообразия. Помещение оформлено так мастерски и со вкусом, что его даже и называть «помещением» неловко. Скорее это мастерская художников, обиталище людей творческой профессии. И никаких журнальных девиц на стенах. Только над кроватью Вольфганга—фотографический портрет Любы. Люба — это жена. Она русская, родилась и выросла в Подмосковье. А сейчас живет в Дрездене, в знаменитом городе на Эльбе. Потому что до марта этого года там жил и работал ее муж. А теперь она, русская, живет там, на Эльбе, а немец Вольфганг Пильц здесь, на Ангаре, строит ЛПК.

— Все перепуталось в этом мире,— говорит Вольф.— Вернее, мы сами все перепутали. И это очень клёво, потому что интересно. Одно плохо, Любы нет рядом. Правда, недавно она прилетала ко мне на неделю. Я ее водил на плотину, на ГЭС, в тайгу, показал ЛПК. Потом мы два дня провели в Братске, все посмотрели вместе. Клёво! Так было б хорошо, если б она осталась. Человек, которого после работы встречает семья, горы своротить может. А наше начальство почему-то думает иначе...

Я рассматриваю подвесной деревянный потолок («Несколько раз бил меня по башке,— комментирует Вольф,—очень трудно было закрепить, стены ведь бетонные»), искусно свернутый из белой бумаги светильник («Перепробовал пять вариантов,— замечает снова хозяин,— наконец получилось кое-что»), деревянный самодельный стол, резные спинки кроватей. Вольф готовит обед. Высокий, белокурый, с правильными, крупными чертами лица, в светлые джинсы аккуратно заправлена синяя рубаха с эмблемой Союза свободной немецкой молодежи. Вот он ловко опрокинул из стеклянной банки в кастрюлю консервированный борщ, добавил тушенки и помидоров, поставил на плитку.

— Надо обязательно есть горячее каждый день,— говорит он.— Хорошо, что ты пришел, а то я не люблю один садиться за стол. Так бы и перехватил чего-нибудь всухомятку... Ты не подумай, что мне это в тягость.— Вольф кивает на кастрюлю с борщом.— Я люблю готовить сам. Обычно дома по субботам и воскресеньям я выгонял Любу из кухни, чтобы самому поупражняться в поварском деле. И знаешь, очень клёвая получалась пища.

Я смотрю на типично немецкое лицо Вольфа, в его зеленоватые глаза чуть навыкате и никак не могу соединить это с жаргоном и манерами вчерашнего московского студента. А, впрочем, так ли уж странен подобный симбиоз, когда национальные черты характера любого человека, например, из ГДР, проучившегося пять лет в советском вузе, дополняются русской широтой и добротой, русским хлебосольством и гостеприимством?! Не есть ли это, как говорят ученые, побочное явление, следствие социалистической интеграции? Не вырастает ли в условиях экономического, технического и культурного сотрудничества стран, стоящих на общей идеологической, политической платформе, человек коммунистического завтра?

Все эти не очень четко сформулированные соображения я высказываю вслух: с Вольфгангом Пильцем можно говорить совершенно откровенно.

— Фантастики надо меньше читать на ночь,— смеется Вольф,— и не класть под подушку повести Стругацких и романы Лема. Но в чем-то ты безусловно прав. Наши ребята здесь всего несколько месяцев, а я прожил в Советском Союзе пять лет. Не сочти за хвастовство, но, вероятно, ты заметил разницу между ними и мной. Да я и сам чувствую себя немножко белой вороной в нашем отряде. Знаешь, мы, немцы, слишком рациональны, не любим тратить время на «пустые разговоры». А ведь нужно, просто необходимо порой человеку общение неделовое. По-русски это называется «треп». Но ничто не проходит бесследно. Иногда за таким, казалось бы, ничего не значащим разговором обретаешь друга, начинаешь лучше разбираться в людях, понимать психологию человека из другой страны. В этом смысле Усть-Илимская стройка — отличная школа для обучения молодых взаимопониманию. Сам посуди, передовые приемы труда советских или венгерских каменщиков, бетонщиков, столяров мы можем изучить по специальным брошюрам. Для этого не надо ехать из ГДР за тридевять земель, в Сибирь. А вот заменить живое человеческое общение не могут никакие брошюры. И общение не в туристском лагере, хотя это тоже кое-что дает, а в общем деле, в совместной работе. Например, как у нас в Усть-Илиме. Извини,— спохватился Вольф,— я здесь речи толкаю, а чай заварить забыл.

Он так и сказал «речи толкаю». Такую жаргонную идиому в русско-немецких словарях не встретишь, такие словечки выдают и определенный образ мышления, манеру поведения. Словно подтверждая мои догадки, Вольф вернулся к прерванному разговору.

— Разные люди в нашем отряде. Одни работают от души, другие «от и до». Да еще так вышло, что все члены нашего отряда из разных городов ГДР, раньше друг друга не знали, так что «состыковка» не всегда получается удачной. Сейчас, конечно, получше, помогает та школа взаимопонимания, коллективизма, которою стал для всех ЛПК. А поначалу... Веришь ли, были такие, что пальцем не хотели шевельнуть, чтобы помочь товарищу. Несет, например, постельное белье к кастелянше общежития обменять на чистое, так даже в голову не придет захватить белье соседей по комнате. Ты в общежитии жил, видел такую картину? Нет? И я не видел, когда в Москве учился. Эльба, конечно, поменьше Ангары, но нельзя же так, нельзя думать в первую очередь о себе...

Вольфганг Пильц с шестнадцати лет живет самостоятельно и ценит это качество в людях. В десятом классе он понял, что хочет стать архитектором, и нацелил себя на осуществление своей мечты. «Как-то судьба свела меня в Братске с человеком,— рассказывает Вольф,— который с головой ушел в заботы по устройству сына в институт: звонит, просит кого-то, ищет протекции. А сын, как подопытный кролик, ждет результата этих переговоров, пассивно участвуя в деле, которое его больше всех касается. Не могу понять ни родителей, ни этого парня. По-моему, самостоятельный человек из него никогда не получится».

Пильц поступил учиться в Московский архитектурный институт. Там не было скучных предметов, неинтересных лекций. Зато были творческие споры, выставки, встречи с замечательными людьми. В Москве он познакомился с Любой, их общежития стояли рядом: Люба училась в Московском технологическом институте легкой промышленности. Они поженились в трудную для обоих пору, когда делали дипломные работы. Но какое же славное это было время! Что может быть лучше: заниматься любимым делом, а дома — пусть этот дом всего лишь комнатка в общежитии — тебя ждет любимая?!

Вольф взялся делать проект олимпийского спорткомплекса на острове, образованном рукавами Москвы-реки, территорией ЗИЛа и Южным портом. Сотни набросков, десятки листов ватмана, тысячи страниц архитектурных альбомов и каталогов. И вот, наконец, начали вырисовываться контуры будущего комплекса. Огромная, организующая пространство чаша над транспортными (метро- и авто-) магистралями. Эта гигантская чаша объединяет две части, на которые остров делится Пролетарским проспектом. Вот уже готов и макет. На нем хорошо видны три разновеликих стадиона, плавательный бассейн, декоративные водоемы, высеченные «банки» гаражей со спиральными пандусами...

Дипломный проект Вольфганга Пильца получил отличную оценку, был выставлен в Союзе архитекторов, однако не был реализован.

Это было в 1975 году. Получив диплом, Вольф вернулся в ГДР и стал работать в Бюро окружного архитектора города Дрездена. Задания, которые приходилось выполнять молодому архитектору, были довольно однообразны, не требовали особого вдохновения, фантазии, полной отдачи сил. Он с грустью вспоминал свой, хотя и не осуществленный, проект спорткомплекса: вот где масштабы, размах!

И тут Союз свободной немецкой молодежи бросил клич: «Нужны смелые парни для работы в Сибири». Так Вольфганг Пильц оказался в Усть-Илимске.

Сорок девять человек в немецком отряде ЛПК. Три бригады: каменщиков, монтажников-бетонщиков и плотников по 14—16 человек в каждой. Кроме того, один сварщик, два мастера, переводчик, командир отряда и два заместителя: Иохан Крюгер — зам по производству и Вольфганг Пильц — «зам по всему остальному». А «все остальное» — это жилье, питание, спецодежда, душевые, спортивный инвентарь, библиотека, почтовые отправления, больничное обслуживание и так далее и так далее. Помимо этого, Вольф отвечает за наглядную агитацию, социалистическое соревнование, спортивные состязания и политические мероприятия, проходящие на ударной стройке. Кроме того, он секретарь первичной организации ССНМ, а проще говоря, комсорг. Диву даешься, как он успевает со всеми этими обязанностями справляться.

— Конечно, я что-то теряю в такой суете,— говорит Вольф.— Хотя приходится сталкиваться с такими вещами, сторонами жизни, о которых раньше понятия не имел. А самый интересный, по-моему, человек — универсально образованный. Я не перестаю поражаться разнообразию интересов да Винчи — вот кто не только знал все, но и умел все. Не подумай, что я провожу какие-то параллели, просто хочу подчеркнуть полезность лично для меня комиссарских, как здесь называют, обязанностей. А в профессиональном отношении я, разумеется, теряю квалификацию. Но это, если понимать профессию архитектора как узкую специализацию. А чтобы быть настоящим архитектором, надо в совершенстве знать строительную технику, социологию, демографию, ландшафтную архитектуру. И я учусь этому здесь, в Советском Союзе. Я вообще очень люблю древнерусскую архитектуру. Готика, на мой взгляд, значительно менее интересна. А барокко — стиль мещан, архитектура самодовольства, когда люди старались украшениями и завитушками на своем доме переплюнуть соседа. Древнерусские зодчие всегда стремились к гармонии здания, постройки с природой — рекой, небом, лесом. Вспомним ту же церковь на Нерли. Она организует все окружающее пространство. Блеск! Очень клёво...

— Ты хочешь сказать...— начинаю я.

— Я только хочу сказать,— перебивает меня Вольф,— что мечтаю строить новые города в необжитых районах, скажем, на БАМе. Вот где раздолье для архитектора, потрясающая возможность вписать искусственные сооружения в пейзаж. А что ты думаешь, не всегда же Вольфу быть замом «по всему остальному»?! Я ведь тоже хочу оставить свой след на очень дорогой для меня земле...

Незадолго до моего приезда на Усть-Илим молодые строители Венгрии, Болгарии, ГДР и Советского Союза провели Ленинский урок, который назывался «Мы патриоты-интернационалисты». Закончился он весьма своеобразно: Вольфганг Пильц, аккомпанируя себе на гитаре, исполнил песню тельмановских комсомольцев. Вот перевод текста:

Вперед или назад —
Ты должен решиться,
Время движется вперед,
а не назад.
Если ты идешь по кругу,
А не вперед,
Значит, ты идешь назад.
Скажи мне, за что ты
стоишь?
Скажи мне, за что ты
стоишь?
И по какому пути идешь?

Семьдесят лет назад, на Штутгартском конгрессе II Интернационала, Владимир Ильич Ленин и Роза Люксембург предложили внести поправку в проект резолюции: «...действовать так, чтобы молодежь рабочего класса воспитывалась в духе социализма и в сознании братства народов».

Сегодняшний Усть-Илимск со всей убедительностью доказывает, что «время движется вперед».

ЛЮБОВЬ

Ну, какие же белые ночи без влюбленных! Да еще в таком молодом городе. Эта последняя и самая короткая история о двух молодых людях, которые ехали за тысячи километров сюда, на берега Ангары, чтобы встретить друг друга и уже не расставаться, идти по жизни, крепко взявшись за руки, как они гуляют сегодня ночами по улицам юного сибирского города. История двух влюбленных очень коротка, потому что их любовь только начинается. Правда, Иштван и Сабира уверяют, будто знакомы тысячу лет, будто они так хорошо знают друг друга, словно готовятся не к простой, а к золотой свадьбе.

Иштван Понграц жил в маленьком венгерском городке Дьюла с мамой. После школы получил специальность столяра, но долго работать не пришлось: подошло время служить в армии. В мае прошлого года, когда срок службы уже заканчивался, Иштван услышал о формировании интернациональных отрядов для работы на большой сибирской стройке. Вместе с одним сослуживцем он подал заявление в первичную комсомольскую организацию. Им дали рекомендации, но товарищ в последний момент сдрейфил, побоялся ехать.

— Я тоже немножко боялся,— признается сейчас Иштван.— Очень хотелось поработать на крупной стройке, посмотреть сибирские дали, встретиться с ровесниками из других стран. Но я боялся морозов. Почему-то думал, что в Сибири страшные морозы круглый год. И все-таки поехал, рассчитывая приспособиться, готов был к самому худшему. Это было в августе прошлого года. Мы попали в самую жару. Потом похолодало, наступила, как и положено, осень, затем пришли морозы. И хотя зима была

суровой, я перенес ее очень легко. А уж если зиму пережил, то ничего не страшно.

Иштван попал в бригаду столяров. Бригада большая — шестнадцать человек. Поэтому она разбита на звенья. Но и звенья быстро перебрасываются с одного объекта на другой. Иштван с товарищами четыре месяца строил общежитие на левом берегу, потом работал на АПК — на строительстве автоматической телефонной станции, административно-бытового корпуса. Работа на различных участках комплекса принесла Иштвану многочисленные знакомства с советскими, немецкими, болгарскими рабочими. А потом он встретил Сабиру...

— Мы познакомились в кафе «Ритм»,— говорит Иштван.— Стоял сильный мороз, но когда я ее впервые увидел, то сразу понял: теперь мне никакая зима не страшна. Она очень добрый и красивый человек.

— Перестань хвалить меня,— смущается Сабира,— это ты у меня красавец мужчина. А я самая заурядная азиатка.

Я смотрю на них, удивляюсь, как они похожи друг на друга. Наверное, любовь и молодость делают этих двух людей с разных концов света очень близкими даже по внешнему облику. Сабира — алтайская казашка, но жила и училась в Киргизии, на берегу Иссык-Куля. Черты лица у нее очень тонкие, совсем не азиатские, глаза не раскосые, а удлиненные, густые черные волосы спадают на плечи. Она приехала в Усть-Илимск работать и учиться, но оказалось, что здесь ей предстояло еще встретить свою судьбу.

Иштван Понграц тоже на редкость красивый парень. Высокий, стройный, смоляные иссиня-черные усы подчеркивают белизну правильного лица, а кудри такого же иссиня-черного цвета, как и у Сабиры, и почти такой же длины.

— Подожди,— Иштван ласково дотрагивается до руки невесты,— я сейчас говорю о другом. О том, что ты меня понимаешь, что мы одинаково любим нашу стройку, слушаем одну музыку, увлекаемся одними и теми же книгами, фильмами. И ты и я — мы хотим иметь красивых, здоровых детей. А это, по-моему, и называется любить друг друга.

Я возражаю Иштвану. На строительстве АПК очень много молодых людей и девушек разных национальностей, интересы которых в производственных делах, музыке, фильмах, моде совпадают. Однако не они, а именно Иштван Понграц заказал у портнихи свадебный наряд для Сабиры. Значит, кроме общих интересов, вкусов и привычек, есть еще что-то... Я щелкаю пальцами, изображая нечто неосязаемое.

— Конечно, есть.—Иштван наклоняется ко мне и заговорщически шепчет на ухо.—Сейчас я тебе покажу...

Он складывает кисть своей правой руки с ладошкой Сабиры. У самого основания указательных пальцев и у него и у нее — совершенно одинаковые точечки-родинки.

— Теперь ты понял,— говорит Иштван совсем серьезно, без тени улыбки,— почему Сабира и я летели тысячу километров до Усть-Илимска? Мы должны были встретиться, она родной мне человек.

«Мистика какая-то,— думаю я,— а еще комсомольцы, передовой отряд молодежи».

Но тут Иштван и Сабира не выдерживают и начинают хохотать. Я не обижаюсь. Ведь они не дурачат меня. Просто они счастливые люди, встретившие свою любовь.

В конце сентября мне позвонил командир венгерского отряда Иштван Ханец:

— Завтра из Будапешта приезжает пополнение — семьдесят три человека. Если хочешь, приходи на Киевский вокзал: поезд № 70 прибывает в тринадцать тридцать восемь...

Я пришел пораньше, надеясь поговорить с Иштваном. Но его уже атаковали радиожурналисты, «наставив» на него сразу три микрофона. Через десять минут, насытив свои магнитофоны, корреспонденты оставили Ханеца в покое.

— Что-то не слышно было в твоем голосе победных ноток,— сказал я ему.— Хотя ты говорил по-венгерски, но даже по тону понятно, что дела на стройке идут не очень хорошо.

— Не так хорошо, как бы хотелось,— поправил меня Иштван.— Видишь ли, сейчас на Усть-Илиме стоит отличная погода. По ночам легкий морозец, градусов пять-шесть, а днем солнечно, ясно, 15 градусов тепла. Только работать в такие деньки. А нужный ритм не всегда удается выдержать: то раствора нет, то автомашин не хватает — очень много транспорта занято на уборочной. Все это приводит к сбоям в работе, простою, длительным перекурам. Мы с комиссаром ходим по бригадам, ведем разъяснительные беседы, называем объективные причины неритмичности. Ребята вроде бы соглашаются, понимают, а дисциплина тем не менее падает, неорганизованность расхолаживает...

— Впрочем, что это я,— улыбнулся Иштван,— совсем расхныкался. Дело-то, конечно, движется. В августе выполнили план на 118 процентов, в сентябре должны иметь 130. Сдали АТС, столовую, два общежития. Жизнь идет своим чередом. Помнишь маляра Мате Йожефа, который женился на белорусской девушке Люде Андрейковец? Так вот, у них уже дочка родилась — первый ребенок в интернациональном отряде. Событие! А скоро будем новоселье справлять: Усть-Илимский исполком выделил молодоженам квартиру в новом доме на правом берегу...

Объявили о прибытии поезда из Будапешта. Состав еще не успел остановиться окончательно, как из двух вагонов посыпались парни в зеленых куртках и желтых рубашках — парадная форма строительного отряда имени Бела Куна. Я подошел к высокому белокурому парню и попросил рассказать, что привело его в отряд.

— Ференц Катински, девятнадцать лет, плотник, холостой, — представился парень.— Работал в одном из цехов Будапешта. О Сибири слышал всякие страшные вещи и вдруг узнаю, что там работают венгры. Решил ехать и посмотреть своими глазами. Мама надеялась, что меня забракует комиссия. Оказался годен по всем статьям. Мама плакала и собрала мне целый чемодан теплых вещей. Все будет хорошо...

Вечером семьдесят три венгра улетели самолетом Москва — Братск.

●



ПРОЗА

Семен ЛАСКИН

ЛЕСТНИЦА

ПОВЕСТЬ

Настроение подпорчено. Мы выходим на улицу около одиннадцати. Горят фонари. Рогатый месяц висит на куполе Смольного монастыря, превращая его в минарет.

Игорь прощается. Даже взглядом он не выражает своего сожаления. Куда откровеннее Вера. Она уходит с ним, а мы остаемся. Глядим в тихую воду, и я сразу же забываю, что случилось за этот вечер.

Оборачиваюсь. Свет горит во всем доме. Только у меня темно.

Мы глядим друг на друга. Юра обнимает меня, словно что-то поняв, и целует.

Я делаю сейчас то, чего не должна делать? Меня охватывает страх, и я бегу в парадное, мимо лифта, пешком — вверх.

Я боюсь остановиться. Юркино дыхание рядом. Совсем близко. Оно кажется мне таким тревожным.

Потом он обгоняет меня. Перекрывает дорогу. Пытается задержать. Я вырываюсь. И со смехом, глухим, как удушье, бегу выше.

— Отстань! Прошу, Юрка!

Смех мешает бежать. Задыхаюсь от смеха.

У Федоровых дверь приоткрыта — вижу полоску никелевой цепочки.

— Ах, ты так! — кричит Юрка.

Никогда я не слышала такого смеха. Хохот прокатывается по этажам, стучит по ступенькам, как мячик. И я слышу только: та, ты, та...

Его руки обнимают меня. Я отбиваюсь.

— Постой, постой! — задыхаюсь от его поцелуев.— Подожди, Юра!..

Вбегаю в квартиру со смехом. Хочу опередить Юру. Шарю по стене. Торопливо ищу выключатель. Он же был здесь, на этом месте. Чуть выше моего роста. Правее от косяка.

Юрка поворачивает меня.

Голова идет кругом. Перестаю думать. Чувствую себя беспомощной и слабой. Сама не могу понять: чего я плачу? Он что-то бормочет, я чувствую только его руки. Потом я делаюсь легкой. Я не ощущаю своего тела.

Ветерок треплет занавеску. Она струится, как лента. Уличный свет рвет ее на лоскуты. И я отчего-то успеваю подумать, что, может быть, это и есть *счастье*?

И тогда звонок в дверь словно прокалывает меня.

Юра отстраняется, отступает.

Торопливо застегиваю кофту. Ах, как дрожат руки! Пуговица скользит, не удержишь в пальцах, не слушается совсем. Кому нужно идти к нам ночью?!

Вспыхивает свет. Мы виновато глядим друг на друга.

Юра шагает к двери. Распахивает. Мы выходим на лестницу — никого.

Я неожиданно улавливаю щелчок французского замка этажом ниже. Федоров?

— Не могло же нам показаться? — бормочет Юра.

Он опять обнимает меня. Но я отстраняюсь.

Мы становимся будто бы дальше друг от друга.

— Иди,— говорю ему.— Уже два часа ночи. Тебя, наверное, ждут дома.

На следующий день мама явилась домой с чемоданом. За несколько дней, пока я ее не видела, она осунулась, постарела — ей стало все сорок, не меньше.

Рисунки В. КРАСНОВСКОГО.

Окончание. Начало см. в № 11 за 1977 год.

По опыту я знала: вопросов лучше не задавать. И так ясно: поссорилась с Аликом.

По комнате мама ходила быстрее, чем обычно, резко отодвигала стулья, будто они специально поставлены в неудобных местах, несколько раз с треском захлопывался холодильник. Нужна была зацепка для скандала, но я не давала повода.

— Какой лед в морозильнике! — наконец раздался ее голос.— Неужели нельзя вовремя поставить на таяние?! Холодильник не два рубля стоит...— Она тут же хлопнула крышкой хлебницы, крикнула мне: — Кирпич, а не булка! А потом, нам же не хватит на утро...

— Завтра воскресенье.

Я пожалела. Нужно было молчать, но теперь поздно.

— Да, конечно,— отозвалась она.— Ты будешь спать, а я побегу за хлебом.

Она вынимала вещи из чемодана, нервно их встряхивала и шла к шкафу вешать. Ах, как худо ей было! Шкаф она закрыла на ключ, подергала дверцу и пошла стелить постель.

— Еще девять!

— Спасибо за информацию. Почитаю в постели. Имею я право выспаться?..

Накинула халат, пошла в ванную.

Я подумала, что самое безопасное для меня — уйти из дома. Впрочем, все повторится, когда я вернусь. «Хоть бы пришел кто-то!» — подумала я, услышав, как лифт остановился на этаже, и тут же бросилась на звонок к двери.

— Открой, открой,— с прежним злорадством сказала мама, юркнув под одеяло и всем своим видом показывая, что приход моих друзей ее не коснется.— К кому еще могут приходить ночью?!

Наверно, у меня было огорчение на лице, потому что первое, о чем спросила Лариса: не случилось ли чего дома?

Она прошла в комнату, поглядела на маму:

— Заболела?

— Нет, устала.

Кинула авоську на стол, подошла к маминой кровати и начала стягивать с нее одеяло.

— Вставай, вставай! — говорила Лариса.— Не куксись! Что у вас, это первый раз в жизни? Слава богу, ругались неоднократно.

Лариса отбросила одеяло на край дивана.

— Я тут кое-чего захватила,— говорила она, выкладывая на стол хлеб, плавленый сырок и две пачки пельменей.

— Спасибо,— плаксиво благодарила мама.— Очень кстати. Прихожу домой, а есть нечего.

— Я была уверена, что все пригодится. Одинокие бабы — это не мужичок-холостяк. Поди-ка у вас даже выпить нечего? — Она уже была на кухне, гремела посудой.— Да брось ты переживать, Анна! — кричала она, не обращая на меня внимания.— Он же дерьмо, ты знаешь. А во-вторых, сам прибежит, не сомневайся. Чего он без тебя стоит?!

Вошла грозная, с полотенцем, вытерла руки и стала стелить кровать. Мама, видимо, показала на меня глазами, попросила соблюдать тайну.

— Взрослая она,— сказала Лариса.— Рабочий класс. Разве от нее скроешь?

На столе уже стояли чашки, пахло крепким чаем. Ужин обещал быть отменным.

Я еще подумала: великое дело — легкий человек! Тяжелый человек — обязательно ноша, даже если этот человек трижды порядочный. С тяжелым человеком горе стало бы много больше.

У одной маминой «девочки» есть порядочный, но тяжелый молодой человек. Придет в экскурсионное бюро и начинает произносить длинные речи. И все сразу становятся умными до чрезвычайности, узнать невозможно. Уйдет — и людям за себя стыдно. Не то говорили. Молчат. А потом как прорвет: жалеют «девочку».

Другое дело — Лариса! С ней весело и спокойно. И главное, не требует она платы за свою легкость: легка, и все тут.

Легкий человек, если и огорчен сам, то ему не нужно, чтобы с ним вместе грустили другие.

...Даже не заметила, как наладилась у нас обстановка.

Лариса сидит за столом — нога на ногу, сигарета в зубах, покуривает, пускает в потолок колечки.

— Мало ли с кем ты его увидала.

— Что ты говоришь! — волнуется мама.— Разве женщине нужна особая информация, чтобы понять все...

— И это ерунда! — разбивает маму Лариса.

— Но она молодая, двадцать пять лет — не сорок!

Лариса откидывает волосы, и я чувствую, как сноп искр разлетается вокруг. Ее взгляд делается острым, чуть ли не злым, эдакий испепеляющий луч пронзает маму.

— Молодость?! — переспрашивает она, словно что-то оскорбительное брошено мамой. Переворачивает стул, садится на него верхом, придавливает подбородком спинку.— Вот перед чем пасовать мы не имеем права. Не имеем! И если мужчина сдался перед одной молодостью, он подонок. И это его, а не тебя, ждет кара. Сколько я уже видала подобных!

— Это позднее...

— А хочешь,— не слышит ее Лариса,— я поговорю с ним? Ты же знаешь меня: не испорчу...

Надежда возвращается к маме, она вроде бы опять молодеет.

Новый звонок скорее радует ее. Вдруг за мной? Ей хочется поговорить с Ларисой без меня.

Да я и сама бы ушла. Только Юры нет дома. Его демонстрируют родственникам, он жаловался еще утром.

Открываю дверь и отступаю. Владимир Федорович! Вот уж не ожидала...

Входит. Смущен. Кланяется маме.

— Добрый вечер. Я думал, вы одни, Люба. Может, помешал? Извините.

— Нет, нет, заходите!

— А я вас хорошо знаю.— Мама протягивает Владимиру Федоровичу руку.

Лариса у зеркала, спиной к нам, торопливо причесывается — небывалая с ней суетливость.

— Лариса, это наш сосед. Познакомься.

Мне кажется, он бледнеет.

Удивление сквозит в Ларисином взгляде. Она торопливо отнимает руку.

— Я хотел попросить вашу Любу...— говорит Владимир Федорович.— Если, конечно, я не нарушаю ее планов. Одним словом, она так хорошо умеет поговорить с папой... Я думал, если она не откажет, побыть у нас завтра... Недолго. Я хочу свезти на художественный совет свои картины.

Я сразу же соглашаюсь:

— Посижу, конечно.

— Спасибо.— Владимир Федорович виновато объясняет: — Я отца никогда не оставляю. А тут уж придется. Понимаете, он нездоров. Но совершенно не опасно. А у вашей Любы талант общения, честное слово.

— Может, выпьете с нами чаю? — предлагает Лариса.

Он вбирает голову в плечи, сутулится, машет руками.

— Не могу. Извините. Не имею права надолго. Я вам так благодарен.— А сам пятится к двери.

Остаемся одни. Я перемываю посуду на кухне, чтобы не мешать им общаться. Пускай не думают, что я любопытна.

Кончаю мыть и несу чашки в сервант.

Лариса стоит у окна, спиной ко мне, курит.

— Владимир Федорович не женат? — Она спрашивает подчеркнуто безразлично.

— Разве не видишь? — за меня отвечает мама.

— Да,— подтверждает Лариса.— Такие женятся только на своем искусстве... А какой он художник?

— Кажется, он понравился тебе? — посмеивается мама.

— Понравился. Очень,— неожиданно признается Лариса. Она садится на подоконник.— И знаешь, чем? Да хотя бы тем, что он совсем не похож... на этих... сорокалетних мальчиков, прилизанных паучков, которые мне давно надоели, вроде...

Она словно проглатывает имя, но маме и так уже ясно.

— Давайте ложиться! — вдруг кричит мама.— Стелите! Будем спать! На кой черт эти пустые всегда разговоры?!

Мы молча лежим. Мама делает вид, что давно уснула, но я-то уверена, что она глядит в потолок, переживает. Да и Лариса уже несколько раз вздохнула, скрипят и стонут под ней пружины.

Наконец, я перестаю обо всем думать...

Было одиннадцать, когда за мной прибежал Юрка. Лариса собирала на стол.

— Поехали за город,— предложил он.— В Павловск. Парк, говорят, сейчас великолепен!

— Ничего не выйдет,— отозвалась вместо меня Лариса.— Вечером заходил сосед, Владимир Федорович, просил Любу посидеть с отцом.

— Знаете,— огорчился Юрка,— моя мама опасается этих людей. Старик — шизик, да и молодой не того. Мама не советует Любе с ними общаться.

Лариса ожгла Юрку взглядом.

— Чем же старик опасен? Я не слышала, чтобы он кого-то обидел,— защитила я.

— Мама — врач,— настаивал Юрка.— И человек предельно трезвый. И если она говорит, то понимает больше других. По крайней мере мне неприятно, что ты к ним ходишь.

Я ответила, что теперь говорить об этом поздно.

— Я на днях уеду в колхоз с курсом,— сказал он,— а ты...

Осуждение было в его взгляде.

— Юрочка! — взмолилась я.— Но Федоровы! Я не могу их подвести. Я должна, честное слово.

Его взгляд оставался твердым.

— Как хочешь,— холодно сказал он.

Владимир Федорович сидел на корточках, стягивал шпагатом картины. Вскочил, поздоровался нервно. Неестественно взвинченным показался он мне.

— Не знаю даже,— отрывисто говорил он, словно торопясь выполнить какое-то свое решение.— Хочу показать вам работу. Последнюю. Я писал ее ночью. Сегодня. Конечно, этого делать нельзя. Показывать то, что едва закончил. Нужно бы отложить. Но мне хочется.— Он подошел к мольберту, стал поворачивать его.

Тренога проскрипела по полу, прочертив еще одну полуокружность, как циркуль. Он наконец установил мольберт так, как нашел лучшим для света. Глаза его сузились. Рука потянулась к картине. Владимир Федорович поднял ее, поставил на мольберт.

С полотна глядела... Лариса. Вернее, Лариса и не Лариса одновременно.

Почти все в этой федоровской Ларисе было мне неизвестно. Он что-то знал о Ларисе такое, чего я не подозревала.

Странно было смотреть на портрет! Правая половина лица была написана белым. Печаль в голубом глазу казалась бездонной. Левый глаз искрился весельем. Да и вся левая половина будто смеялась.

И было еще что-то в портрете. В свободном углу клонилась ромашка, три лепестка оставались в венчике, словно бы сама судьба присутствовала рядом.

Владимир Федорович стоял в дверях, надевал куртку. Затянул молнию. Потом молча снял портрет и повернул его к стенке.

— Люба, прошу вас,— сказал он шепотом,— отцу о портрете ни слова.

Казалось, Федор Николаевич даже не заметил, что Владимир Федорович ушел. Лежал неподвижно, закрыв глаза.

Я стала убирать в комнатах. Подмела полы, собрала раскиданные банки в одно место, протерла окна на кухне и в комнатах. Вода и тряпка давненько не касались стекол.

И тут я почувствовала, что старик пристально на меня смотрит. Повернулась. В его взгляде была просьба.

— Не могла бы ты... показать работу... Володя писал ночью.

— Я не знаю...

Обмануть было невозможно.

— Она у стенки...

— Но Владимир Федорович просил... Он еще не кончил...

— Не могла бы ты,— повторил Федор Николаевич резко,— принести мне новую Володину работу? Мне нужно.

Я подчинилась.

Взяла портрет — Лариса кольнула меня горьким глазом и тут же засмеялась задорно и радостно.

Старик лежал на спине, смотрел в потолок и не повернул головы до тех пор, пока я не прислонила портрет к спинке стула.

Не знаю, о чем он думал, но вдруг я заметила, как слеза выкатилась из его глаза и утонула в бороде.

— Можешь отнести,— глухо сказал он. Сложил на груди руки и застыл.— Кажется, я ему больше не нужен.

...Владимир Федорович стоял в дверях со связкой картин и улыбался. Передо мной был победитель, мальчишка, этакий разухабистый счастливчик, которому повезло так, как никому в жизни.

Он вроде бы заметил что-то в комнате, прошелся по коридору, заглянул на кухню, всплеснул руками: «Как у нас чисто!» Вернулся, поставил картины, сказал, блуждая рассеянным взглядом: «Спасибо, спасибо!» Подумал о чем-то своем и спохватился:

— Как папа?

— Уснул.

Развязал узел, скрутил веревку и, что-то мурлыча под нос, стал вешать работы.

Я не выдержала:

— Ну, что вы молчите? Рассказывайте. Понравились комиссии ваши картины?

Он иронически поглядел на меня.

— Нет, конечно.
Я растерялась.
— Но что же они сказали?
— Спросили,— уточнил он,— где я учился.
— А вы?
— Ответил: нигде не учился. Как Ван-Гох. Так и произнес нарочно: Ван-Гох.— Он искренне и долго смеялся. Потом поднял портрет Ларисы, нашел для него место, повесил. Отступил и с удивлением стал разглядывать его, точно увидел впервые.— Нет, худо! Очень худо! Теперь я напишу портрет иначе. Вчера, оказывается, я ничего не понял.— Он улыбнулся, приложил палец к губам, словно попросил меня сохранять его тайну.— Она была там... В коридоре художественного совета... Какие-то свои дела привели.— Махнул рукой, будто бы понял всю неправдоподобность таких объяснений.— Впрочем, это неважно. Возвращались мы вместе.— Поглядел на меня снова и прибавил: — Кажется, удивительный человек ваша Лариса.

Солнце утекало за горизонт, когда я встретила Юру. В доме зажгли свет. Вспыхивали желтым то одни, то другие окна.
Валентина Григорьевна задергивала шторы в кабинете, а на балконе стоял Леонид Сергеевич, курил.
Юра уже не помнил обиды, схватил меня за руку и потянул за собой.
Мы перебежали дорогу. Пересекли пустырь. Нашли скамейку. На холме, около старой березы.
Юра положил голову мне на колени, глядел в небо. Я погладила его волосы, провела ладонью по лбу, по губам, он поцеловал мою руку.
— Здорово тут, верно?!
А я внезапно вспомнила его в пятом классе. Серьезный мальчик в длинных брюках и в белой рубашке. Его прикрепили ко мне, и он оставался после уроков, объяснял задачи.
— Ну, чего тебе непонятно? — покрикивал он, теряя терпение.
Дома я плакала. Вскакивала ночью и в какой раз бралась за задачник.
Мама ругалась, тушила свет — я не давала ей спать.
Тогда я пряталась в ванной, повторяя про себя условие. «Велосипедист,— пыталась понять я,— едет из пункта А в пункт Б». Мне начинало казаться, что велосипедист — Юрка. Чтобы его догнать, я прибавляю скорость. Юрка жмет что есть силы. Иногда оборачивается, машет рукою. Это получается вроде подначки. «Юркааа!»
Меня будит мама.
— Почему ты спишь в ванной? Захотела получить воспаление легких?
Утром я действительно заболеваю.
Теперь Юрка приходит ко мне домой, садится строгий на табуретку, раскрывает тетрадь.
На мне лучшее платье в горошек, я вытащила его перед самым приходом Юрки. Хочется, чтобы он заметил. А он бубнит свое, требует, чтобы я решала. Вода переливается из бассейна в бассейн... По дороге едут велосипедисты.
...Теперь моя голова лежит на его коленях — мы поменялись местами. Он гладит мои волосы, а я думаю, что однажды я все же решила задачи. Как он был рад! Встал довольный, подал мне руку, сказал: «Больше я тебе не нужен». «Нужен, нужен!» Нет, он этого тогда не услышал.
С работы пришла мама и не могла разобраться, отчего же я плачу.
Во сне опять мчались велосипедисты, в одной трубе сечение оказалось в два раза меньше, чем в другой, а электричка быстро догоняла пешехода, который вышел на три часа раньше.

Домой мы возвращаемся во втором часу ночи. Переходим дорогу, останавливаемся на перекрестке. Юрка целует меня. Я совершенно беспомощна перед ним, и мне опять кажется: это и есть счастье.
Около дома стоят двое. Я их узнаю — это Леонид Сергеевич и Валентина Григорьевна. Они всегда беспокоятся за сына, он для них по-прежнему ребенок.
— Хочешь, я им скажу, что мы любим друг друга?
— Нет, не нужно.
А у меня мама давно спит. Свет в окне погашен. Домой идти не хочется. Нащупываю ключи в кармане и иду на набережную.
Девчонки нарисовали классики на асфальте и оставили стеклышко в первой клетке. Встаю на одну ногу и гоню стеклышко из квадрата в квадрат. Когда-то я умела играть в классики лучше всех в нашем дворе и уж, конечно же, лучше Юрки.

Владимир Федорович сидит на той же скамейке и вскакивает при моем приближении. На вопрос об отце отвечает:
— Федор Николаевич? Спасибо. Ему лучше. Нет приступов. Надеюсь сегодня ночью снова поработать.— Он бросает торопливый взгляд в сторону наших окон, спрашивает. — Ваши спят?
— Спят,— отвечаю, понимая, что «наши» — это Лариса.
Вдоль Невы идем молча. У каждого свое на уме. Разговаривать не хочется, но и разойтись не выходит. Я будто бы чувствую на своем лице Юркину ладонь, ощущаю ее запах. Иногда поглядываю на Владимира Федоровича, у него странная улыбка.
— Владимир Федорович,— прошу я,— расскажите о Федоре Николаевиче...
Он останавливается — видимо, вопрос застает его врасплох,— смотрит на меня с сомнением.
— В первые дни войны отец пытался попасть в армию, но его не взяли,— наконец говорит он.— Сосчитали негодным к службе. Нас же с мамой еще в июле отправили в эвакуацию, эшелон двигался в сторону Кисловодска, туда же пришли немцы...
Помолчали.
— Когда в Ленинграде начали умирать с голоду, отец стал обходить квартиры своих учеников. Дети из его классов. К январю сорок первого у нас дома поселились три человека. Сиротки. Девочки. Знаешь, что́ отец понял? Хочешь выжить — найди общее дело. И он создал домашнюю школу. Повесил расписание занятий. В коридоре бренчал колокольчик. Он заставлял их учиться. Правда, ему пришлось сократить время уроков, больше тридцати минут не получалось. Потом такая же перемена. И журнал он завел, тот самый. Ставил девочкам только пятерки... Девочкам отец говорил, что идет в далекую школу давать уроки. Он говорил, что в той школе ему платят хлебом. А было, Люба, иначе. Отец шел через весь город, в дом, где в блокаду припеваючи жили люди. Бывало и такое. Ничего особенного собой эти люди не представляли. Мать и две дочки. Одна маленькая, вторая — в седьмом классе. Мать этих девочек работала в столовой на раздаче, так что с хлебом, как ты понимаешь, у них был полный порядок. Вот Федор Николаевич и преподавал старшей, а за это ему давали кусок хлеба.


ПРЕЙСКУ
НАБОЙКИ
КОСЯЧКИ

Владимир Федорович передохнул, скосил взгляд на меня, точно хотел понять: нужно ли мне то, что он открывает?

— И этого куска хватало на всех?

— Нет, конечно. Он еще менял ценные вещи. Моя бабушка была известная артистка, от нее оставались кольца, колье, серьги, мама этого никогда не носила. Мы не думали, что это нам когда-нибудь пригодится... Девочки говорили, что Федор Николаевич уходил в «сытую школу».

Владимир Федорович замолчал.

С воем пронеслась «Скорая помощь», близко вильнула на Неве моторная лодка, простучала, как мотоцикл.

— Полненькие причесанные дочки встречали Федора Николаевича в том «сытом доме». Он отдыхал на кухне. Пил чай с сахарином. Съедал кусочек хлеба и тогда начинал заниматься. После занятий бывали торги. Мамаша кричала, что Федор Николаевич ее грабит, что он требует слишком много хлеба, но Федор Николаевич не хотел уступать — дома его ждали дети. Возвращаясь, он думал, что скоро не на что станет выменивать продукты. В конце концов у него остался только эскиз Серова, портрет моей бабушки-артистки. Мамаша сначала отказывалась брать эту картину, потом, когда другого не стало, она из милости согласилась. Это был акт своеобразного благородства. Кому в блокаду нужен Серов? ... В тот день путь моего отца домой был невероятно трудным. Он брел из последних сил. Отдыхал в сугробах. Он бы уснул и замерз, но когда вспоминал о детях, то вновь поднимался.— Владимир Федорович вдруг признался: — Когда я становлюсь к мольберту, то часто преодолеваю желание написать человека, бредущего по опустевшему городу. Он ползет на коленях. От сугроба к сугробу... И тогда я пишу свои натюрморты... В портфеле лежали половина хлеба и концентрат пшенки. Только к ним нельзя было прикоснуться. Это был хлеб для детей. Я часто думаю, Люба, в человеке есть что-то такое, чего разумом понять невозможно, что приближает его к богу. Отец и был богом, когда нес хлеб людям, когда умирал на снегу, когда плакал от собственного бессилия и полз дальше. Вот что означает его фраза: «Я быстро шел к дому». ...У последнего поворота отец уснул в сугробе, но его разбудили взрывы. Начался обстрел. Отец заставил себя подняться и действительно заспешил к детям. Он уже добрался до дома, когда почувствовал: чего-то в руке не хватает. Портфель! Он остался в сугробе. Пришлось возвращаться. И вот чудо! Портфель так и лежал на месте, а там концентрат и половина кирпича хлеба. Отец нагнулся. И вдруг взорвалось снова. Отца ударило камнем. А когда он очнулся, то увидел, как стена его дома падает. Потом стала оседать крыша. Она проваливалась вовнутрь. Дом становился кучей щебня. Горой. Могилой. И отец бросил в пепелище куски черного хлеба. ...Вот и все,— сказал Владимир Федорович.— Больше никогда не нужно об этом.

Он протянул мне руку и быстрым шагом пошел прочь, точно спасался от своего же рассказа.

Я долго стояла у парапета. Мысли исчезли. В душе оставалась тревога.

Стало холоднее. У Федоровых в одной комнате горел свет — вероятно, Владимир Федорович работал. Это было единственное окно, где не спали...

Вавочка постоянно торчит на кухне. Я ему нравлюсь. Он смеется даже тогда, когда я говорю серьезно.

Одевается Вавочка сверхмодно. Клеши, туфли на высоком каблуке и кожаная куртка, знатный такой куртончик, как он уважительно называет свою одежду.

Девушки-ушивщицы заметили в нем перемены, посмеиваются. Вавочка злится, называет их дурами.

— Хорошо пахнет,— делает комплимент Вавочка.— Отменная ты повариха, Люба. Выходи за меня замуж.

— Ты любишь не меня, а то, что я готовлю...

Положение спасает дядя Митя. Он приходит, чтобы пристыдить Вавочку, но, выгнав его, сам остается в кухне.

Открывает форточку. Садится, задумчивый, на табуретку. Прикуривает. Обгорелую спичку аккуратно укладывает в коробок. Потом дядя Митя делает глубокую затяжку. Говорить он не торопится. Поглядывает искоса в мою сторону. А я одним ударом ножа разваливаю вилок капусты, мелко и быстро ее шинкую. Нарезаю лучок, тру морковку, все это тушу отдельно на сковородке.

— Хочешь, я тебя обучу сапожничать? — говорит дядя Митя с улыбкой.— У тебя же талант в руках.

— Тогда Вавочка будет готовить?

Глаза у дяди Мити становятся искристыми, смех вспыхивает в них.

— Он наготовит! Все попадем в больницу...

Мне некогда прерываться. Сковорода накалилась, шипит — только успевай помешивать. Я убавляю огонь, снимаю шумовкой накипь, добавляю соли.

— Отменные щи! Пальчики оближете, дядя Митя.

— Хорошо о себе говоришь,— щурится дядя Митя.— Не знать своей силы плохо. А стесняться ее — еще хуже. Все настоящие мастера гордились своей силой и знали себе цену.

Он докуривает сигарету, придавливает ее о коробок и несет в мусорный ящик. Потом не спеша возвращается к верстаку.

Дверь из кухни открыта. И от плиты я вижу сгорбленную его спину, металлическую лапу, которую он держит между коленей, молоток в руке...

Я застываю с поварешкой, забываю о деле. Дядя Митя исполняет соло. Это партия виртуоза.

Иногда он поднимает голову, перехватывает мой восторженный взгляд и, не улыбаясь, продолжает свою работу...

Время приближалось к закрытию. Очередь тянулась по всему вестибюлю. Я села писать квитанции, а Вера принимала обувь, неторопливо разглядывала ее, диктовала артикулы и цены.

Последним стоял полный мужчина с бритой головой-шаром. Я попросила предупреждать приходящих, чтобы больше не занимали. Мужчина кивнул, пригладил голову ладонью, вроде бы причесался.

Вот подошла и его очередь. Он аккуратно развязал шпагат, намотал его на палец, спрятал веревочку в карман.

Я пошла закрывать дверь — рабочее время кончалось.

— Что у вас? — Вера взяла туфли, осмотрела их и сама села писать квитанцию.

Она писала столбиком цифры, перекидывая костяшки на счетах, а клиент отстукивал по прилавку согнутым пальцем.

— И сколько? — сдержанно спросил он.

— Рубль семьдесят четыре,— записала Вера.

— А я уж думал — семьдесят четыре,— пошутил клиент.

Вера засмеялась:

— Я бы взяла, только вы, наверное, не дадите...

Он улыбнулся.

— А директор у вас есть в прейскуранте?

— Весь вышел,— отшутилась Вера. Ей, кажется, нравился такой юмор.

— Тогда вместо него пригласите жалобную книгу.— Он вроде бы еще улыбался, но взгляд стал металлическим и стылым, как у безволосой гуттаперчевой куклы.

— Зачем? — Вера только теперь заметила, что клиент не шутит.

Он вынул из нагрудного кармана корешок квитанции и положил на прилавок.

— Узнаете?

— Да, это наша,— сказала Вера и удивленно поглядела на туфли.

— А теперь посмотрите, когда вы мне их делали. Он ждал, пока она перелистает книгу, снова постукивая костяшкой пальца.

Наклонился, когда она отыскала графу, сложил губы в бантик и засвистел.

— Странно.— Вера помолчала.— Туфли чинил дядя Митя. На той неделе.

Клиент засвистел еще громче — мол, что мы теперь скажем на это.

— Подождите, пожалуйста,— попросила Вера подчеркнуто любезно и ушла в мастерскую.

Мне не хотелось быть свидетельницей разговора. Я решила уйти, но тут меня едва не сшиб в дверях дядя Митя.

Он открыл журнал, сверил номер и отскочил, словно ожегся. Потом повертел в руках туфли, он, видимо, их не помнил. Ничего не сказал. И стремительно скрылся за дверью.

— Мастер вас просит подождать,— перевела пантомиму Вера.— Мастер сейчас исправит.

Мужчина еще пару раз стукнул костяшкой пальца, сел на стул, развернул газету.

В зале было пусто. Билась о стекло крупная муха. Позванивали трамваи на дороге, шуршали автобусные шины.

Вера пересчитывала выручку, вот-вот должен был прийти инкассатор.

Я вышла в цех. Дядя Митя сидел на лапке, работал. Лицо его было злым, и когда он стучал по гвоздю, то казалось — хотел разбить подошву.

Я подмела вокруг верстака, прибрала обрезки, дядя Митя даже не поднял взгляда.

Мимо меня прошла к директору Вера, попросила не уходить — нужно было открыть инкассатору двери.

Клиент читал газету, подчеркивая что-то в передовой шариковой ручкой.

Я опять заглянула в книгу. Цена, артикул. Провела пальцем по строчке и вдруг удивилась: там было написано «бот», то есть ботинки, а дядя Митя чинил «полубот», иначе — туфли.

Я поднялась и пошла с книгой в цех.

— Дядя Митя?

Он сделал вид, что не слышит, стал искать на полу какие-то инструменты.

Я присела.

— Тут записаны ботинки...

Он взглянул на меня. Потом выхватил книгу. И прокуренным указательным пальцем провел по строчке. Хмыкнул.

— Ах ты, стерва!— сказал он. Его глаза налились кровью.

Я испугалась. Вот уж не думала, что такой тихий, мудрый человек дядя Митя может стать страшным.

А дядя Митя уже стоял у дверей. В одной его руке покачивались туфли, в другой он сжимал сапожный нож.

Мужчина увидел его, сложил газету. Поднялся. И тут же с испугом поглядел на выход. Здоровый крюк удерживал двери.

— Ах ты, гаденыш ползучий! — шепотом говорил дядя Митя, приближаясь к клиенту.— Рупь захотел сэкономить? Недорого же ты ценишь свою совесть!

— Позвольте! — Клиент пятился к двери. Его взгляд был прикован к руке дяди Мити.

— Нет, не позволю,— словно бы не слыша его, бормотал дядя Митя.— Двуногая мокрица! И кто обучил тебя такому?!

Клиент отскочил к дверям и теперь снизу бил что есть силы по крюку ладонью.

Дядя Митя остановился и, подняв туфель, просунул сапожный нож под подошву. Поднатужившись, с силой прорезал вдоль нового ранта.

— Нет,— проговорил он спокойно.— И не надейся, что я тебя прирежу. Не выйдет. Сидеть за такое дерьмо — очень нужно! Я только исправлю починку. Сделаю, как было.

Дверь распахнулась. Клиент мчался через дорогу. Дядя Митя вышел за ним, размахнулся. Вслед за хозяином полетели туфли. Они долетели до середины дороги, шмякнулись в лужу.

Водитель грузовика скинул скорость: решил — летит что-то живое. Притормозил. Выглянул из кабины и обнажил в улыбке ровные зубы. Грузовик въехал в лужу, подмял туфли, они сплющились, всосали в себя воду и исчезли на дне...

У Юры отъезд намечен на послезавтра. Я позвонила ему — он был на собрании, и Валентина Григорьевна пригласила меня назавтра в гости. «Все равно вы захотите побыть вместе,— сказала она,— поэтому давайте лучше проведем вечер у нас. Я испеку пирог.— Она засмеялась.— Как человек реальный, я хочу, чтобы и мы — волки — были сыты и вы — овцы — были целы».

Я вышла из будки и у соседнего автомата увидела Веру. Она стояла, как скрипач, вывернув плечо и подбородком прижимая трубку. В руке у нее были театральные билеты.

Увидела меня и подала знак подождать.

— Порядок! — сказала она, переводя дух.— Уговорила пойти в театр. Мировецкая, говорят, вещь! Любовь в чистом виде. «Ураган». Кассирша сказала: ураган чувств.— Она подмигнула.— Пусть посмотрит, холостякам это полезно...

Я проводила ее на автобусную остановку и вернулась к дому. В комнате сидеть не хотелось. Может, в кино?

Я пошла к набережной и вдруг увидела недалеко от себя худенького человека. Сразу подумала: Алик. Такой же взмах рукой и подпрыгивающая походка. Он, конечно.

Только теперь я поняла смысл оставленной мамой записки. «Любаня! — писала она.— Еда в холодильнике. Я у Ларисы».

Кроме холодильника еде быть негде, я бы все равно туда поглядела. Значит, то, что она сейчас у Ларисы, следовало считать главным.

— Люба!

Алик раскидывает руки и идет навстречу. Размахивается, припечатывает мою ладонь.

— А я только что был дома, никого не застал. Ты не знаешь, где мама?

— У Ларисы.

— Ты ее видела?

— Она оставила записку, для вас, полагаю.

Алик счастлив. Ему трудно скрыть свою радость. Он глядит на собственный туфель, точно советует-

ся с ним. Потом берет меня под руку и ведет по набережной. Вроде папа и дочка.

— Я много о тебе думал,— говорит Алик.— Ты молодец, Люба. В жизни ничего не бывает впрямую. Только в школьном учебнике расстояние вычерчивается по линейке. В жизни приходится пользоваться лекалом.

Он принимает мое молчание за покорность. Взрослым иногда нужно дать выговориться. На них тяжело давит жизненный опыт.

— Я много думал в эти дни, много. Какие нелепые ходы делает человек в своей шахматной партии...

Он молчит, но я и так понимаю: это о себе и о маме.

— Надеешься сыграть ее лучше и проигрываешь. Нужно делать элементарный ход: e2 — e4... Да,— кивает себе Алик, так и не дождавшись моего ответа.— Вихрь распознается по той пыли, которую он поднял.

Худенькая его фигурка полна скорби. Пожалуй, и здорово, что у них с мамой все опять нормально. Она его любит, он, вероятно, тоже.

— Тогда я позвоню ей по телефону? — спрашивает меня Алик.— Или удобнее тебе? Скажешь Ларисе, что я бы к ним подъехал.

— Лучше вы сами. Она вас ждет.

— Думаешь? Я звонил ей на работу, она говорила сухо.

— Ничего. Это для первого раза. Теперь будет легче. Есть кое-какие симптомы.

Он опять советуется с собственным туфлем.

— Я очень, очень виноват перед мамой.

— Так ей и скажите.

Забавно, что я учу его жить.

Алик идет к автомату. Портфель перекашивает его фигуру. Алик медленно набирает номер, потом что-то быстро начинает говорить в трубку, потом... я вижу на его лице виноватую, тихую улыбку...

С утра в мастерской царило победное настроение. Обсуждали вчерашнее, кричали, грозили прохиндеям и хохотали. Дядя Митя был, как прежде, невозмутим. Глядел на сапог с пристальностью и вниманием натуралиста, поймавшего невиданную бабочку. Потом его рука тянулась к инструментам.

Вера принимала сандалеты у молодого, но с глубокими залысинами мужчины, покачивала головой. Ремонт, кажется, требовался солидный. Мужчина виновато улыбался и разводил руками, точно просил прощения за столь непотребный вид обуви.

— Может, я зря,— говорил он, чуть заискивая.— Но эти так удобны на ноге. Я в них, как босиком.

Вера подтянула счеты и стала кидать костяшки. Что-то многовато у нее полетело, и я поняла: она шутит, разыгрывает робкого клиента, испытывает его нервную систему.

Она смела ладонью всю сумму, взглянула на него утешительнее — нет, ни один мускул не дрогнул на его лице — и стала считать снова. На этот раз сумма была обычной.

— Придется подождать три недели.

— Три?! Но в октябре, как вы понимаете, сандалеты будут уже не нужны.

Она подмазала корешки клеем, смела деньги в стол и отсчитала сдачу.

Он продолжал что-то бормотать.

— Ладно,— сжалилась Вера.— Сходите в кино, а через два часа возвращайтесь.

— Спасибо, девушки! Вы очень милые, благородные люди! Я вам напишу все в жалобную книгу. Это будет удивительная благодарность! — Он выскочил из мастерской невероятно счастливый

— Представляешь, как его сегодня похвалит мама за расторопность,— сказала Вера.— Ручаюсь, он первый раз в жизни добился такого большого практического успеха.

Пока она носила сандалеты дяде Мите, в мастерскую зашел человек с хмурым лицом и большими оттопыренными ушами. Остановился молча. И один за другим положил на прилавок новые дамские сапоги-чулки.

— Накатку? — поняла Вера.

Человек кивнул.

— Через три недели.

— Чушь какая! — выругался человек, и уши его слегка пошевелились.

— Сейчас сентябрь,— стала объяснять Вера.— Люди приезжают из отпусков, у всех обувь требует ремонта. Мы завалены работой.

Он стоял, как бык перед матадором. Лбом мысленно протыкал Веру.

— Директора...— сказал он.

Вера исчезла в цехе с сапогами. Вернее, она исчезла для него, я же видела Веру — она стояла в дверях цеха, ожидая, когда клиент успокоится

Вышла. Небрежно бросила сапоги на прилавок, взялась за квитанцию.

— Две недели,— уступила она.

— Неделю.

— Десять дней,— махнула рукой Вера и выписала квитанцию.— На свой страх...

Мужчина переступал ногами, думал.

— Быстрее вам нигде не сделают,— добавила Вера.

Он не ответил. Он решил оставить ее слова без внимания. Положил бумагу в карман и неторопливо пошел к выходу. Уши шли вместе с ним, слегка пошевеливаясь при каждом шаге; они напоминали рыбок-прилипал, сопровождающих акулу.

Дверь захлопнулась.

— Запомни,— сказала Вера.— Такой клиент всегда прав. Упаси тебя господи говорить с ним категорично. Покажи, что ты готова все для него сделать, иначе это окажется для тебя последним днем работы.

В глазах молодого человека было счастье. Он держал новенькие сандалеты и не мог в это поверить.

— Дивно! — бормотал он.— Жаль, что я не сфотографировал их до реставрации.

Мы с Верой хохотали.

— Я бы хотел кое-что мастеру...— сказал он.

Дядя Митя возник в дверях, смотрел иронически-мудро на клиента.

— Позвольте отблагодарить вас...— сказал молодой человек торжественно и, увидев нахмуренный взгляд дяди Мити, торопливо его успокоил: — Это от всего сердца...

Дядя Митя снисходительно ухмыльнулся, перевел глаза на нас с Верой.

— Этот человек думает меня сделать на рубль богаче. Но если бы я сказал, что с сегодняшнего дня стану уважать себя ровно на рубль меньше?

— Но я не хотел вас обидеть!

— Еще бы! — За воспитанием дяди Мити было многое.— Я разъясняю вам смысл поступка. П о с т у п к а! — подчеркнул дядя Митя. И тут же ушел.

Юра ждал меня в вестибюле. Пока я переодевалась, Вера давала мне практические советы.

— Обязательно иди с цветами. Это производит благоприятное впечатление. Деньги найдутся?

Я поглядела: не густо.

— Держи! — Она протягивала пятерку.— Брось ломаться. Отдашь, когда будет.

Что бы я делала без Веры? В ней клокотал практический гений, как говорил Юра. Как-то в школе — даже я слышала эту легенду — она привела на свой выпускной вечер знаменитый оркестр. Директор хватался за голову от страха, но оказалось, им нужно было благодарственное письмо за проделанную шефскую работу.

Потом мы шли с Юркой к дому. Я с грустью думала, что завтра он уезжает на месяц...

Свернули под арку к цветочному магазину — стылое, казенное помещение, заполненное пустыми горшками и искусственными гвоздиками, явно не для веселых событий.

В кассе досиживала последние минуты молоденькая продавщица, ее взгляд был словно приклеен к противоположной стенке.

Я обошла стеллажи, вздохнула.

— А посвежее?..

Нет, она не намерена была отвечать на мои вопросы. Я же подумала, что с такой непроницаемостью лучше было бы работать в охране.

— Иду на смотрины... К нему...— продолжала канючить я, надеясь на минимальный интерес к моей судьбе.

Она все же повернула голову — отыскала глазами за окном Юрку.

— Студенты?

Клюнуло! Теперь нужно идти, как танк. Главное — прямые контакты, это наказ Веры.

— Он поступил, уезжает в колхоз. А я провалилась. Работаю рядом, в сапожном ателье. Приходи, если что-нибудь нужно.

Ее фарфоровое лицо становится живее.

— Я тоже в прошлом году провалилась.— И вдруг улыбка: — А парень приятный, смотри, как бы в колхозе его не увели студентки.

— Сама волнуюсь.

Смеемся.

— Ладно,— говорит.— Побудь около кассы, я пошурую...— И исчезает в кладовке.

Юра прилип к окну, подает мне знаки. Хватит, нас ждут.

И тут девушка выносит розы. Крупные алые бутоны, будто из воска. Я нерешительно прикасаюсь к ним — нет, живые.

— Держи! И знай наших! Хотела себе, но у тебя важнее. Такого букета не выдержит ни одна свекруха.

Выхожу. Юрка стоит пораженный — немая сцена. Успеваю еще раз махнуть продавщице, она провожает меня взглядом.

Потом мы ее забываем.

— Ну, ты и молоток, Люба! — поражается Юра.— Не представляешь, в какой восторг придет мама!

— Леня! Леня! Погляди, какое у нас чудо! Любочка, где ты достала такие розы?! Спасибо! Я уже двадцать лет ничего подобного не получала. Помнишь, Леня, ты мне срезал такие на городской клумбе в Сочи? Нас еще оштрафовали...

Леонид Сергеевич вальяжный, в стеганой куртке, бритоголовый, с короткой острой бородкой, похожий на офицера в отставке. Он только небольшого роста, на полголовы меньше сына. Протягивает руку и крепко пожимает мою. Я вдруг вспоминаю, что Леонид Сергеевич был чемпионом республики по штанге, это давным-давно рассказывал Юрка.

Валентина Григорьевна приносит вазу, ставит цветы.

В столовой у них я впервые. Картины в тяжелых золоченых рамах по всем стенам. Старинные портреты. Лысый человек в военном мундире, похожий на Леонида Сергеевича. Дама с лорнетом, в газовом декольтированном платье. А вот и доктор! У письменного стола высокий мужчина, рукой упирается в толстые книги, а рядом пепельница-череп и врачебная трубка...

— Родственнички,— небрежно бросает Юрка.

Валентина Григорьевна расставляет закуски. Леонид Сергеевич сворачивает головку коньячной бутылке и просит разрешения налить по «четыре капли по случаю исторической встречи».

— Предлагаю небывалый, оригинальный тост,— весело говорит Леонид Сергеевич.— За нашего студента!

Потом он уже один пьет за мое «завтра», за Валентину Григорьевну и самого себя, так как они «посильно участвовали своими нервными клетками в этом экзаменационном марафоне». Лицо Леонида Сергеевича краснеет, глаза поблескивают; он предается размышлениям.

— У меня немалый жизненный опыт,— говорит он,— поэтому послушайте, дети, старого Бояна, что он будет вам бяшеть.

Мы едим мясо с грибами, Валентина Григорьевна подкладывает мне в тарелку.

— Рабочий класс,— говорит она,— нужно кормить калорийно, я человек реальный. И ты, Леня, одними советами сытыми их не сделаешь.

— Ты, Люба, когда-то спорила с Валентиной Григорьевной о призвании, помнишь? Мне известны твои аргументы. Как говорится, логика не лишена задора — я тоже не против призвания и тут со своей женой не согласен.— Он делает паузу.— Но нельзя забывать, что у большинства людей вообще не было призвания в том смысле, в каком ты его понимаешь, а специалистами своего дела они стали. И специалистами блестящими. Зайди к Валентине Григорьевне в поликлинику. Образцовый порядок и дисциплина. Разве я предполагал, что из нее выйдет такой организатор? Ну, кто из больных догадается, что их главный врач — бывшая эстрадная певица?

Он наполнил рюмку и, когда Юрка протянул руку, шлепнул шутя его по пальцам, спрятал бутылку под стол. Сощурился, довольный собой, подмигнул сыну и погладил себя по лысине, словно похвалил.

— Куда больше призвания я ценю рефлекс цели. Умение ставить перед собой задачу, четко знать, чего бы ты хотел в жизни и даже что бы ты мог сделать... В школе вам говорили о пользе, приносимой другим,— прекрасно! — но я бы сказал и о собственной пользе. Жизнь подсказывает, что то и другое нерасторжимо. Даже больше: если себе — то и другим, иначе не представляю. Да и не верю в иное.

Он улыбнулся, заметив что-то в моем лице: я действительно смешалась от его речи.

— Только не считай меня, ради бога, карьеристом, не нужно. Я уже прошел главный свой путь для карьеры. И циником считать не стоит. Хотя цинизм, как любит говорить Валентина Григорьевна, не такое худое свойство, ибо он обнаженная реальность. Тем циничный человек и интересен, что он не придумывает краски, а высказывается так, как

видит. Он о т к р о в е н е н.— Леонид Сергеевич покатал рюмку в пальцах, подумал и плеснул из бутылки еще немного.— Теперь последнее, чтобы не было недоумений... Отчего я хотел поговорить с тобой?..— Он усмехнулся.— Ну, не потому, что мы считаем тебя невесткой. На этом по крайней мере этапе. Многое еще утечет, изменится, никто не знает, что будет у вас через месяц. Но мы так решили: раз вы дружите и коли ваши пути сейчас пошли в двух направлениях, то нам неплохо бы было расставить флажки и вехи, помочь вам кое в чем разобраться...

Юра заурчал что-то, но Леонид Сергеевич сделал вид, что его не слышит.

— Вот я и говорил про м о с т между вами. Но о стройматериалах для моста нужно думать теперь...— Он поднял палец, сделал паузу, поглядел на Юру.— Ты вступаешь на новый этап, значит, начинать нужно ответственно и серьезно. От старта многое зависит. Выйдешь на орбиту сразу или будешь путаться в закоулках маленьких желаний... Даже то, что ты едешь старостой группы,— уже благоприятствие твоему делу. Вот первый шанс стать заметным, потом будут учеба, научное общество, доклады... Все это путь к главному, серьезному шагу... И тут важно, Люба, чтобы мост между вами стоял на железных сваях, и тогда по нему прошагает решительный мальчик — таким я хотел бы видеть собственного сына.

Он поднял рюмку, сказал: «Виват!» — и плеснул коньяк в рот.

Потом они с Валентиной Григорьевной заваривали чай на кухне, а мы с Юрой остались в комнате. Я стала рассматривать портреты. С чашками вошел Леонид Сергеевич, заметил мое любопытство, сказал весело Юре:

— Ты бы показал Любе д р е в о...— И, оставив чашки на столе, опять удалился.

Юра достал из нижнего ящика серванта рулон бумаги, протянул мне. Я развернула. Это оказалась родословная их семьи.

— Папино хобби,— объяснил Юра.— Набор родственников. Коллекция семейных находок. Честно сказать, я и сам не во всем разобрался: тети, дяди, двоюродные и троюродные бабушки... Папа говорит, что я не созрел для такой трудной и математической задачи — определять степень родства.— Он засмеялся.— Ты могла бы извлечь корень квадратный из своей троюродной племянницы?.. А от этого зависит ее место на родословной ветке...

Леонид Сергеевич пришел из кухни в фартуке, поставил на стол электрический самоварчик, повернулся к нам.

— Может, оттого, что у нас полно здравствующих родственников, с которыми мы не разговариваем, у меня появилась живая потребность собрать и разместить по веткам всех умерших родственников... Мне это как-то помогает трезвее оценить свое собственное место в жизни.— Он присел на диван, взял свиток, долго его разглядывал, словно давно не видел.— История не должна быть в забвении,— сказал он, посмеиваясь.— А вообще, если хочешь, неживой родственник — так я считаю — лучше и удобнее живого, потому что он тише, спокойнее, не ходит к тебе в гости и не лезет в твою душу. Он не поучает твоих детей, не требует от тебя жить по его образу и подобию, не вникает в твои дела. Было время, когда я пытался мирно жить с собственными родственниками, но они странно реагировали на мои дела: нервничали и злобствовали, когда я добивался успеха, соболезновали при неудаче, точно это было их личное достижение.

Я сказала, что ничего подобного в жизни не видела, у нас родственников нет.

— Проблема возникает с количеством,— сказал Леонид Сергеевич.

— Леонид Сергеевич — человек ироничного, трезвого ума. Он во всем сохраняет юмор. Это помогает нам в жизни,— засмеялась, входя, Валентина Григорьевна.

Мы опять сели за стол. Леонид Сергеевич так и оставался в фартуке, цедил чай в чашки из самовара, пододвигал каждому.

— Имя умершего значительного родственника,— говорил он попутно,— всегда приятно. Ты вроде бы даже причастен к его таланту. Ты им гордишься, не думая, каким этот родственник был в жизни. Родственник-неудачник тоже небольшая помеха. Если он вам мешает — можно его не учитывать; если он бросит на вас тень со своей ветки, сотрите его имя. Зачем лишняя компрометация?

— Я вижу, тебе не совсем ясна наша бухгалтерия? — улыбнулся мне Юра.

— Пожалуй...

— А корни! — воскликнул Леонид Сергеевич.— Корни у любого дерева — это же гарантия его прочности, даже если дерево родословное. Вместе с родственниками ты бессмертен, тебе сотни лет, твой дух возникает не из н и ч е г о, а из н е ч т о, названного многими именами. Ты — смешение генов всех этих людей.

Я сказала, что с первой секунды заметила сходство человека на портрете с Леонидом Сергеевичем.

— Представляешь,— кивнул он мне,— а его мать пела в австрийской опере, и Франц-Иосиф целовал ей руку. А вот сам этот человек считался неудачником, хотя образование по тому времени имел приличное. В конце жизни он купил дом в Петербурге и небольшой завод — вот и все, чего мог добиться. А уже его братец, который здесь обведен красным кружочком, был великолепным путейским инженером, имел прямое отношение к железной дороге в Сибири. Финал его не совсем ясен: родственничек затерялся в войсках Колчака.

— Одна наша родственница даже танцевала при дворе Николая Первого,— с гордостью произнес Юрка и, чтобы я не подумала пустого, прибавил: — Вероятно, знала Пушкина.

Я мысленно перебрала всех своих родственников — их было так мало! — и не нашла никого приметного, кем бы я могла теперь погордиться.

— У меня есть знакомые,— сказала я.— Так их бабушка была знаменитой артисткой Александринского театра.

Юрка удивился: он был уверен, что знает всех, с кем я когда-либо общалась.

— Кто это?

— Неважно.

Он немного обиделся. Я подумала, что если назвать Федоровых, то Валентина Григорьевна сразу же начнет говорить о них как о сумасшедших и приводить свои доказательства.

Леонид Сергеевич насухо вытер руки о фартук, взял свиток и долго и как бы заново изучал его. Родственники, как птички, густо усыпали все его ветви. Фамилии были обведены кружочками, каждый родственник словно бы сидел в гнезде.

— У нас тоже есть артистка,— сказал Юрка и показал на неприметный портретик на стене, я не сразу заметила эту работу. Гордое, строгое лицо, чуть приподнятый подбородок, сведенные губы — многозначительное и мудрое, что ли, молчание.

Глаза у Леонида Сергеевича неожиданно стали щелками, пуговка носа вздернулась, по лбу побежали прыгучие морщинки — он беззвучно смеялся. Мы с Юрой невольно поддержали его.

Вот уж не думала, что с таким серьезным человеком может быть так просто! А ведь я побаивалась его. По двору Леонид Сергеевич проходил быстрой, деловой походкой: хмурый, стремительный, он будто бы и в дороге продолжал решать трудные научные проблемы.

— Если уж быть честным,— сказал он,— то Юра тебя вводит в заблуждение. Это не родственница, во-первых. А во-вторых, мы не знаем, артистка она или нет. Портретик перешел к нам от Юриной бабушки, а как к ней попал, я понятия не имею.

— Мамина мама,— добавил Юра,— была всего лишь бухгалтер. Но по уму, говорят, могла стать министром, только не очень-то этого хотела.

Они смеялись.

Я подошла к портрету. От лица, нервного и живого, от царственного актерского жеста невозможно было оторваться. Это была, конечно же, самая значительная вещь в их собрании.

— Если она артистка, то великая.

— Или ее написал великий художник,— уточнил Леонид Сергеевич.— Подписи нету. Но, по преданию, портрет написал Серов, мы давно собираемся показать его специалистам.

Мне сделалось страшно. Портрет артистки — работа Серова! Это же последняя ценность, которую отнес Федоров той, из столовой!

Юра положил мне на плечо руку, я вздрогнула.

— Что с тобой?

— Нет, тебе показалось.— Я неожиданно спросила: — А в блокаду? Где твоя бабушка жила в блокаду?

— Здесь,— не без гордости ответил за Юру Леонид Сергеевич.— Они многое пережили. Представляешь: одна, без мужа, с Юриной мамой.

У меня сжало виски до головной боли. Я подумала, что нужно бы уйти из их дома. Потом я сказала себе: пока нельзя ничего говорить Юрке. Нужно проверить. И если так, пусть сам отнесет Федоровым картину.

Леонид Сергеевич что-то рассказывал о портретах, каждый имел историю.

Юра опять протянул мне свиток. На линиях Валентины Григорьевны его бабушка занимала скромное боковое место.

Зазвонил телефон. Леонид Сергеевич извинился, пошел в кабинет. Его голос звучал раздраженно.

Я стала собираться. Юра хотел проводить меня, но Валентина Григорьевна попросила его остаться. Я даже обрадовалась этому.

— Любочка поймет тебя, Юрик,— сказала она.— Тебе нужно проверить рюкзак, подготовить себя в дорогу.

В столовую вернулся Леонид Сергеевич. Он был чем-то озабочен, глядел хмуро.

— Как? — спросила его Валентина Григорьевна. Она, видимо, прислушивалась к разговору.

Он не ответил.

Валентина Григорьевна вздохнула, опустила глаза: они и без слов понимали друг друга.

Мы вышли с Юрой на лестницу. Подождали лифта. Юра меня обнял.

— Ты встревожена чем-то?

— Нет.

Он понял это по-своему:

— Я скоро приеду, Любчик!

Потом я долго бродила по улице. Бред старика, рассказ Владимира Федоровича, их глухие, похожие голоса словно бы оживали во мне. Неужели Кораблевы? Тот же портрет? Все так сходилось...

Смеющееся лицо Леонида Сергеевича возникло в моем воображении. Кого же он напоминал?

И тут я вспомнила вечер самодеятельности в Доме культуры. Выступал артист, считавший себя профессионалом. Он так же громко смеялся, широко жестикулировал, откидывал голову. Было видно, что он играет роль, хочет стать самым заметным. Да, лицедей-самоучка, циник в семейной пьесе.

Я торопливо пошла к дому. Пожалуй, больше всего в те минуты я хотела увидеть маму.

Атмосфера небывалого покоя царила у нас. На маме был фартук в горошек. Она выкладывала пирожки на тарелку и улыбалась своим мыслям.

По комнате расхаживал Алик. Он тоже вдруг както изменился. Из нагрудного кармана его черного костюма празднично выглядывал уголок платка. Умытый и счастливый именинник — вот каким был Алик.

Лариса сидела на подоконнике — любимое ее место,— подобрав ногу, невидящими глазами смотрела сквозь меня. Гитара плашмя лежала на ее коленях. Лариса перебирала струны, склонив голову, словно бы прислушивалась.

— Какой прекрасный человек твой Владимир Федорович! — говорила мама несколько возбужденно.— Порядочный, тонкий, интеллигентный!

Для Алика Владимир Федорович был абстрактной фигурой. Алик расхаживал по комнате широким, нервным шагом, внезапно останавливаясь у зеркала. Иногда он как бы знакомился с собой, в его взгляде не возникало особого интереса, скорее скепсис,— вот встретился по дороге, увидел и прошел мимо. Приятный человек, что тут еще скажешь.

Но иногда Алик подходил к зеркалу с волнением, в его глазах вспыхивал восторг — надо же, какое чудо! — он принимал значительную позу, откидывал прядь со лба, закладывал руку за лацкан и подавался назад корпусом — этакий Наполеон на острове Святой Елены.

— Давайте-ка лучше к столу,— суетилась мама, бросая на Алика теплые взгляды.

Мама вынула из холодильника большую коробку с шоколадным тортом, на которой широким росчерком было написано — шесть рублей,— и я окончательно забеспокоилась. Вечер сулил какие-то сюрпризы, торт явно принес Алик.

— Ларочка, детка, за стол!..

Мы все уже сидели, но Лариса даже не повернула головы в нашу сторону.

— В Португалии неспокойно,— сказал Алик, помешивая ложечкой чай и поглядывая на маму: между ними шел безмолвный, но чрезвычайно важный диалог.

Лариса ударила ладонью по струнам, заставила всех замолчать. И запела.

Ах, какой у нее был глубокий голос! Я помню этот знаменитый романс, сколько раз я его слышала:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

Она накрыла ладонью струны, остановила их дрожание, оборвала звук.

— Вот был человек! — сказала она.— Я про Ларису Огудалову из «Бесприданницы», мою тезку. Как она этот романс поет, помнишь, Анна?! За одну

встречу, за один миг — целую жизнь! Нате вам, нате, и никаких миллионов! Нате!..

Ложечка Алика звенит, звенит в стакане, не может остановиться.

Я беру кусок торта и чай, несу Ларисе.

— Тетя Лариса, пейте. Стынет.

Гитара летит на диван, Лариса вскакивает — в ее глазах бешенство.

— Почему ты называешь меня тетей?! Не сметь! Не сметь! — Слезы наворачиваются на глаза; она бухается на стул и почти безразлично заканчивает: — А вообще какое это имеет значение? Тетя, бабушка, прабабушка... Представляешь, Анна,— говорит она со злым вызовом,— он на семь лет меня младше. Ну, зачем я ему, такая развалина? Да и он-то зачем мне такой...

— Я видела много хороших пар... при подобном сочетании...— Мама пытается быть рассудительно-доброй.

Алик будто бы не слышит их разговора. Громко отхлебывает чай.

Потом отставляет чашку. Поднимается. И несколько секунд стоит надо мной, раскачиваясь и обдумывая что-то свое, чрезвычайно важное. Мама заискивающе смотрит на него.

— Люба! — произносит Алик, словно бы перед этим не было никакого Ларисиного крика.— Не знаю, сумеешь ли ты нас понять... Вы теперь живете иначе...— Он ходит по комнате, собираясь с мыслями, и опять останавливается на прежнем месте.— Чтобы раздобыть пачку папирос в твоем возрасте, я перекапывал картошку. Нашей модой была военная гимнастерка, уже выцветшая за годы войны. Свой первый костюм я купил в двадцать шесть лет. В двадцать девять я увидел холодильник. Достоевского я прочел в тридцать два...

Он замолчал, явно жалея себя.

— Георгий,— сказала мама взволнованно.— Можно я сама?..

Он кивнул.

— Люба,— сказала мама.— Ты знаешь, что я люблю Алика, и вот теперь — это немного забавно,— но теперь он сделал мне предложение. Считай, что ты присутствуешь на свадьбе.

Каждый вечер я вычеркиваю в календаре один день — все нетерпеливее жду Юру.

Я очень хочу его видеть, и все же, мне кажется, нам что-то уже помешало.

Юра, конечно, не подозревает. Вчера пришла короткая открытка: «Юра + Люба = Любовь Юровая».

Милая шутка! Раньше я была бы так рада этому!

Дома пустота. Оказывается, даже с мамой было веселее.

Ложусь рано. Вот и сегодня послонялась, почитала немного и легла еще до десяти. И тут звонок.

Обрадовалась, побежала к дверям. Не Вера ли? Лариса!

Вошла встревоженная, нервная, заговорила быстрыми, отрывочными фразами:

— Я на минутку. Мы должны были встретиться. А он не пришел. Что-то случилось. Он всегда точен.— Она теребила яркий наплечный платок, а сама отворачивалась.

— Почти десять. Договорились около девяти. Что-то у него худо.

— Могу сходить.

— Спасибо.— Она сразу же закуталась в платок, как больная; села на стул.

Я спустилась на этаж, позвонила. Голос Владимира Федоровича донесся издалека, из второй, видимо, комнаты:

— Сейчас, сейчас!

Лариса вышла на площадку, я почувствовала, что она стоит надо мной, смотрит в пролет.

Владимир Федорович снимает цепочку.

Вхожу. На столе в первой комнате беспорядок. Разбитые ампулы, шприц в разобранном виде, клочки ваты.

— Люба, заберите кувшин,— просит Владимир Федорович.— Не горячо, папа?

Старик полусидит в кровати. За спиной — подушки. Голова свешена. Худая, как у цыпленка, шея.

Я начинаю понимать, что с ним происходит. Это приступ сердечной астмы.

— Теперь уснет,— шепчет Владимир Федорович.— Было очень плохо... Я испугался...

Выношу воду. Убираю осколки ампул. Владимир Федорович смотрит на отца. Я повторяю про себя — астма, и что-то тяжелое, давящее, со щупальцами, как во сне, начинает чудиться мне.

Федор Николаевич дышит глубоко, легкая хрипотца пробивается сквозь его дыхание.

— Пойду,— говорю тихо.

Владимир Федорович кивает.

— Передайте,— просит он.— Впрочем, не нужно. Она знает...

— Ночую у тебя,— сказала Лариса. Скинула мамин халат, повесила его в ванной, так и осталась полураздетая в дверях.— Не возражаешь? Здесь хоть душу есть с кем отвести. Побуду с хорошим человеком. Да и домой далеко ехать. Не хочется. С некоторого времени не выношу пустоту.— Она отбросила одеяло, легла на мамину кровать, закинула руки за голову.— Хорошие стихи нашла. У древних индусов. Вообще-то книжка обычная, стихи в ней всякие. А вот строчка... «О вечер! Зачем ты покинутых женщин караешь?» Правда, здорово? — покачала головой, пошевелила губами, видимо, про себя повторяла эти слова. Повернулась в мою сторону, резко приподнялась на локте.— Отчего к человеку начинают приходить мысли, которых раньше у него не было? Не знаешь? — Не дала мне ответить, сказала: — Я была у него дома. Старик спал. Владимир посадил меня на кухне и стал выносить холсты. Бутылки, бутылки с цветами... Потом показал... мой портрет...— Она закусила губу и с головой закрылась одеялом, как девочка.— Меня никто никогда не рисовал!..— крикнула она.— Знаешь, я не могу передать этого чувства...

Села на кровати, поглядела на меня — понимаю ли?

— В детстве я как-то заплыла в омут, воронка от снаряда была недалеко от берега... Я знала, что где-то она есть... А вот не верила, что и со мной может такое произойти. И вдруг попала... Вот и здесь так. Омут, Любка. Думаю, думаю, а ответить не могу... Сумею ли с таким человеком? — Запустила пальцы в волосы, растрепала прическу.— Матери твоей завидую. Она и Алик, как хорошо у них и просто. Нормально, по правилам; даже если там и были какие-то сложности, то ясно, к чему шло... А у меня? — Ударила кулаком по матрацу.— Как же быть, Любка? Отказать? Мыкаться по чужим домам, ходить от подруги к подруге, делать вид, что ты независима, что тебе дороже свобода... Да пропади она пропадом, эта моя свобода. Я плена хочу, плена, чтобы жизнь, как у всех, Любка!

Пробежала босиком по полу, выключила свет и быстро бросилась назад, к кровати. Заскрипели пружины.

— Я боюсь, не знаю чего, но боюсь... Таланта его страшно. Незащищенности. Тонкости его. А если не

убережешь? Сломаешь? А потом... тащу я за собой порядочный о п ы т, как теперь это зовется. Вагон и маленькую тележку. Так что, ему эту тележку возить или мне самой? — Она помолчала.— Я тут недавно обидела его. Знала, что обижаю. По самому главному бью, но ударила... Подумала, пусть он во мне усомнится, разочаруется...

— Зачем?

Она вздохнула.

— Говорю: «А если искусство твое, Володя, никому не нужно? Если оно так и останется на твоих стенах, что же тогда?» Он при всей своей трудной жизни — счастливый, Люба, человек. И как раз тем счастлив, что в способности своей, в предназначении высшем ни разу не усомнился. Он мне сам говорил, что не может художник по-другому. Кто, сказал он, усомнился, того уже давно нет в искусстве. Неусомнившиеся живут теперь и жить будут...— И словно не было всего этого разговора, спросила: — Как у тебя с Юрой?

— Он в колхозе на месяц.

— Ты, Люба, не торопись со всем этим... Понимаешь, о чем я? Или уже поздно?

— Ничего не поздно.— Я отвернулась к стенке.

— Ладно, не обижайся. Я так. Как друг говорю...

В свободные редкие минуты я люблю посидеть с дядей Митей. Говорит он мало, но уж если заговорит, то интересно. Набьет в рот гвоздиков. Стучит, стучит, вроде не замечает меня. А я посижу да встану. Вопросы ему задавать бесполезно, знаю: захочет — сам что-то расскажет.

Недавно так у нас и случилось. Отложил инструменты, поглядел на меня серьезно, точно проверил, пойму ли его, и начал:

— Все-то у меня, Люба, могло по-другому быть, да только не стало...— Ударил молотком по каблуку, бросил туфель в кучу починенной обуви, сказал с сердцем: — Была семья — погибла в блокаду. И сын, и мать, и дочь, и жена. Большая была семья, Люба... Глупо, конечно, в моем возрасте о сиротстве говорить, а вот когда с войны вернулся, долго у меня это чувство не проходило.

Я растерянно молчала, не знала, что ответить дяде Мите на это.

— За четыре года я в Германии разно бывал: и как пленный и как победитель. В Бухенвальде сидел. Нельзя представить человеку худшее. Решили мы с другом бежать. Первый день в трубе канализационной прятались. Тихо вроде было. Но я другу-то говорил, нельзя выходить, переждать надо, а он полез. И сразу взяли его собаки. Овчарки у них хуже волков, пострашнее. В этой канализационной трубе из-за запахов им человека не услышать...— Он прикрыл глаза.— До войны я очень собак любил. Овчарок. Умные, стервы. Сидит, привязанная, из чужих рук ничего не возьмет. Кинешь колбасы, а она и не глядит даже, вроде кирпич это... А тогда... как они рвали живого человека! Как он кричал, Люба!.. Потом два месяца я к своим полз, черствел от ненависти. Зверем стал, Люба. Больше всего я тогда лес любил. Спрячусь и мечтаю весь день. Рассажу около себя всех: и сына, и дочь, и жену — и пошучу даже: «Помните,— скажу им,— как вы вчерашнюю булку есть не хотели?» Смеемся, смеемся, пока не разревусь я. Потом, после партизанского отряда, отпуск получил... Домой поехал. Сердце что-то чувствовало уже... И все же надеялся я, что разыщу... И представь — все погибли с голоду. Стою перед домом на Некрасовской, а сам думаю: неужели м н е л е г ч е было, чем им? Как же так?

Он замолчал, насовал гвоздиков в рот, поднял недочиненную дамскую туфлю.

— А сейчас... вы один живете?..

Выплюнул гвоздики на ладонь, пошевелил губами.

— Нет,— качнул головой.— С бабкой. На десять лет меня старше. Когда-то пустила в дом. Хороший она человек. И обед сварит и постирает. Я ее так бабкой и зову. Трудно ей нынче стало: давление, печень, чего-то еще... Ну, да что делать? Живем, жалеем друг друга, Люба.

Вера забежала ко мне домой на минутку и, не присаживаясь, решительно распорядилась:

— Через час нужно быть у меня. Придет Игорь. Я сказала — день рождения.

— Но у тебя же зимой.

Она покрутила у виска пальцем.

— Это мотивировка. Причина иначе. Отцу захотелось поглядеть на Игоря. А потом,— она подмигнула,— и мне этого хотелось. Нерешительный он человек, приходится брать инициативу в свои руки. Пусть сравнит ухоженный быт с холодом армейской жизни.— Она захохотала, радуясь собственной шутке, прибавила: — В моем возрасте, как сказал Мичурин, нельзя ждать милостей от природы, взять их — наша задача.

...Из дома я вышла, как и условились, через час. И около Вериного парадного столкнулась с Игорем. Он шел в гражданском костюме, подтянутый по-военному, озабоченно-сосредоточенный, точно предстояло ему здесь выполнять задание особой важности. Я сразу об этом ему сказала. Он улыбнулся, но комментировать не стал, вроде бы согласился.

— Жених! — издевательски заметила я.

Игорь оглянулся по сторонам, будто его преследовали, и то ли шутливо, то ли серьезно спросил:

— Неужели, Люба, я произвожу такое глупое впечатление?

Двери оказались открытыми. По всему было ясно, что нас высмотрели в окно.

Вера, Иван Васильевич и Евдокия Никитична стояли в коридоре, напряженные и торжественные, плечом к плечу.

— Познакомьтесь,— сказала им Вера, принимая у Игоря цветы и чмокая его в щеку.— Это...

Она не договорила, ее перебил Иван Васильевич.

— Сейчас, сейчас! — крикнул он. В его руке был будильник. Иван Васильевич вертел торопливо стрелки, нажимал кнопку звонка. И вдруг в коридоре возник мелодичный звон, малиново заиграли колокольчики.— С музыкой хотелось встретить,— объяснил Иван Васильевич.— Конечно, мы, родители, узнаем все последними, но уж таково решение настоящего времени.. текущего, так сказать, момента...

Евдокию Никитичну в этой суете и звоне совсем забыли; она стояла за спиной мужа, слушая «своего», и была не видна, как маленькая девочка за большим столом.

Я подошла к ней. Она радостно зашептала:

— Красивый какой, милиционер-то! — И постучала кулачком в спину мужу: — Ты у меня, Ваня, таким красивым-то не был!

— Как это не был? — возмутился Иван Васильевич. Он наконец повернулся, освободив большое пространство, и как бы показал Игорю свою жену.— Да я и сейчас красивый, если от мазута отмыть.

Евдокия Никитична прыснула.

— Балабол ты, Ваня! Как был балабол, так и остался...— Повернулась и по-хозяйски широким жестом пригласила гостей войти.— Давай, Любаня, командуй. Ты своя у нас, вторая, можно сказать, дочь, как-никак сваха...

Глаза у Игоря стали явно шире.

— Мама, ну что ты говоришь! — одернула Евдокию Никитичну Вера.— Игорь подумает...

— А что ему думать,— сказал Иван Васильевич добродушно. Он обнял жену, положил огромные ладони на ее покатые плечи, притянул Евдокию Никитичну к себе.— Мы люди простые, мыслей за пазухой не держим. Выпьем сейчас и договоримся...

Евдокия Никитична словно помолодела, выпорхнула из его объятий, опередила нас, распахнула створку двери в гостиную, как они называли большую комнату.

Сели за стол. Иван Васильевич стал разливать в фужеры «Столичную».

— Многовато,— усомнился Игорь.

Иван Васильевич сделал вид, что не слышит.

— У нас в гараже,— обстоятельно заговорил он,— иногда спрашивают: «Ну зачем, Иван, тебе такая дача? Мороки с ней! Света божьего не видишь». «Да,— говорю,— не вижу. Но для кого я стараюсь? Для дочки стараюсь. Для внуков, если пойдут. Мне поэтому лучшего света и не хочется».

— Папа!

— Помолчи,— сказал Иван Васильевич.— Дети теперь так и норовят влезть раньше родителей.

Евдокия Никитична расставляла наливку, смородинную, крыжовниковую.

— Вот и поглядим, что дает моя дача! — говорил Иван Васильевич, доброжелательно похохатывая.

Количество блюд, блюдечек и вазочек нарастало. Были тут и моченая брусника, и соленые грузди, и грибы маринованные белые, и огурчики корнишоны, маленькие, ровные, словно отобранные по одной мерке, и помидоры, и моченые яблоки, и лучок, и даже шпиг, присланный сестрой Ивана Васильевича из деревни.

Женщинам предложили наливку, и в комнате запахло смородинным листом.

— Мне нельзя,— заторопилась Евдокия Никитична, прикрывая рукой фужер.— У меня кролик тушится. Я бегать на кухню должна.

— Как хочешь.— Иван Васильевич потянулся к Игорю, как бы предложил ему чокнуться.— Со знакомством,— сказал он.

— Давайте уж за Веру. Ее день рождения...

— За ее рождение зимой выпьешь,— забыл об уговоре Иван Васильевич.

Вера, очевидно, подтолкнула его ногой. Иван Васильевич допил свое, глотнул рассола, удивленно поглядел на дочь.

— Я чо? — сказал он.— Я ничо. Так просто.

Осмотрел стол, ему явно чего-то не хватало, крикнул в сторону кухни:

— Дусь?! Может, борща дашь? — Повернулся к Игорю.— Как насчет борща? Уважаешь первое?..

Закуски было полно. Игорь с сомнением поглядел на нас с Верой, покачал головой.

— Не стоит...

— А я первое очень уважаю,— сказал Иван Васильевич, принимая от Евдокии Никитичны тарелку кроваво-красного борща с жирными, будто янтарными разводами и огромным куском мяса.

Вера подкладывала закуски Игорю. Теперь в центре стола лежал тушеный кролик, большущее блюдо, потеснившее маленькие тарелочки.

— Вот этот кролик,— рассказывал Иван Васильевич охотно,— сегодня утром еще в клетке бегал. Попробуй его на вкус. Т е л я т и н а ! Я его сам готовлю, не доверяю женскому полу. Прибавлю уксусу, помочу сколько нужно и тушу на малом огне. На Веркиной свадьбе десяток кроликов на стол пустим. Твое начальство решит, что мы им целого теленка прирезали, спорим?!

Он так и зашелся от смеха. Игорь опустил голову, быстро взглянув на меня.

— За ваше счастье! — крикнул Иван Васильевич, наливая по новой.

— Папа! — напомнила Вера.

Иван Васильевич уставился на нее.

— А чо? Как думаю, так и говорю.— И выпил, не дожидаясь Игоря.

Иван Васильевич тыркал вилкой в лапу кролика, лапа отскакивала, точно живая.

— Когда я на дальнобойках работал,— говорил Иван Васильевич, наконец подцепив кусок,— мы деньги мармулями звали. Сколько я тогда мармулей этих зашиб! Но зато... и работа будь здоров и не кашляй.— Он вспомнил что-то, поглядел на Игоря.— А может, нельзя тебе про мармули, ми-ли-ци-онер все-таки?

Вера вышла в соседнюю комнату, и почти сразу оттуда послышалась музыка.

— Танцы, танцы! — закричала она.

— Куда? Куда? — замахала руками Евдокия Никитична.— Пирожки ведь с картошкой, горяченькие.

— Потом, потом, мама.— Вера уводила Игоря от отца.— Потанцуем, а ты папу пока уложи, ладно?

— Пускай сидит, тебе-то чего? — не поняла Евдокия Никитична.

Вера не оглядывалась. Она протянула Игорю руки и спросила:

— Можно вас пригласить, товарищ старшина?..

К трамвайной остановке мы с Игорем шли чуть впереди Строевых. Евдокия Никитична и Вера вели Ивана Васильевича под руки. Он разговаривал громко, требовал, чтобы его не держали.

Игорь был грустным.

— Цирк какой-то,— не вытерпел он.— И потом это вранье с рождением, зачем?

— Ну, а если ты нравишься? Она же как лучше хотела...

Он улыбнулся, но опять осуждение проскользнуло в его улыбке.

— Значит, если нравлюсь, нужно в психическую атаку идти? Так можно на всю жизнь отбить охоту жениться: энергия, Люба, в этом деле не помогает...

Подошел трамвай. С Игорем прощались по очереди. Иван Васильевич долго и тяжело жал руку, глядя в глаза, точно спрашивал у Игоря, как он выдерживает эту медвежью силу.

Евдокия Никитична ухватила Игоря за голову, пригнула и поцеловала в лоб.

Двери захлопнулись. И вся семья Строевых одновременно подняла для прощания руки.

Мы пошли с Верой на набережную, а Евдокия Никитична и Иван Васильевич — к дому.

— На отца обижаться глупо,— произнесла Вера.— Человек он хороший... Внуков им хочется.— Ей, видимо, нужно было объяснить мне что-то такое, о чем раньше она никогда не рассказывала.— Видишь, как живем.— Она широко взмахнула рукой.— Все есть. А было... Когда мы в город переехали, то сначала в семейном общежитии жили, одна комната на три семьи, простынями перегораживались. Потом я родилась — комнату дали. Отец сел на пол, паркет гладит руками и плачет: «Мой это». А еще через несколько лет квартиру мы получили, дачу построили, машину купили — какая-никакая, а бегает.



Живем. И только теперь одного им хочется — чтобы у меня было все по-людски.

Глаза ее горели, ноздри натянулись, как у гончей.

— Ну, а дальше? Выйдешь замуж, внуки у них будут, что дальше-то?

Она иронически поглядела на меня.

— Какой ты еще ребенок, Любка! Дальше ничего и не нужно. Для внуков отец работает. Этого и мне, и ему, и маме, и...— Она не назвала Игоря, но словно передала глазами его имя.— Нравится он мне, очень нравится,— тревожным шепотом сказала она.— Я тебе так благодарна! Понимаешь, я уже думала, что и влюбиться-то не смогу, зачерствела душой, старая стала. Двадцать пять — так много! А вот думаю о нем, думаю постоянно и уже знаю: чего бы мне ни стоило, а нужно его удержать.

Я хотела повторить слова Игоря, что энергия в этом деле не лучший помощник, но решила — не стоит.

Мы дошли до конца набережной. Моросил легкий, почти незаметный сентябрьский дождь. Он едва увлажнил волосы, мелкие капельки искрились под фонарями.

Вера вздохнула глубоко, подняла голову и с восторгом сказала:

— Ах, как хорошо, Любка! Душе хорошо!..

Около Вериного прилавка стояла девушка маленького росточка в кожаной, плотно обтягивающей юбке, бледная, можно сказать, фарфоровая, как кукла. Первое, что я подумала,— где-то мы с нею встречались.

— Не переживай так! — уговаривала ее Вера.— Починим. Дело поправимое...

— Да если бы я сама их сломала, а то подруге на танцы дала, а с танцев она еле приползла, оба каблука в стороны... Теперь самой нужно идти — и не в чем... Это же мои лучшие, выходные, сорок пять рублей выложила.

— Сделаем, сделаем,— успокаивала ее Вера, заполняя квитанцию.— Через две недели зайдешь.

— Через две недели? — Девушка схватилась за голову.— Через две недели!

— А ты думала — сразу?

— Мне ждать нельзя, я в театр вечером.— Она всхлипнула.— Я, может, на этот театр три месяца надеялась, не одна же иду.

Я внезапно узнала свою цветочницу.

— Привет! — сказала радостно.— Помнишь, ты мне розы продавала?

Она даже рот распахнула.

— Да я и шла-то сюда, чтобы тебя встретить, думала, ты на приемке.

— Супинаторы сломаны,— объяснила Вера,— поэтому я и говорю: две недели. Нужно, чтобы дядя Митя сделал, а у него работы, сама знаешь!

— Все же попрошу, раз такое...— Я уже держала в руках туфли, пошла к дверям.— А ты подожди, вдруг удастся, у меня с ним контакт...

Потом я сидела около дяди Мити, а он насвистывал, разбирая модельный туфель. Заменил сломанный стержень и, покачав головой, принялся за второй.

— Сделаем человека счастливым...— Он хмуро поглядел на меня.— Как просто — счастливым.— Долго дышал на помутневшую лаковую поверхность, потер туфли рукавом.— Иди, отдай,— сказал он.— Ишь, как им легко — счастье...

— Мечта! — обрадовалась девушка, увидев свои туфли.— Ой, девчонки, давайте я вас расцелую!

— Ты уж своего суженого расцелуй, а у нас давай плати за ремонт,— сказала Вера. Она и сама радовалась за девчонку.— Рупь двадцать да за срочность двадцать процентов...

— Конечно, конечно,— заторопилась цветочница, отдавая трешку.

Вера открыла ящик, чтобы сдать сдачу, но девушка уже бежала к дверям.

— Стой! — крикнула я.— Держи сдачу!

Но она махнула рукой и выскочила на улицу, едва не сбив с ног длинную, как мачта, седую даму в очках. Она вошла, как солдат, чеканя шаг, точно собиралась отдать Вере рапорт. Положила туфли, неподвижно уставилась на Веру.

— Надо же, супинаторы! — сказала Вера.

Спросила адрес, подклеила корешки на подошву, рассчиталась. Дама повернулась, словно ей скомандовали «кругом», и с той же строевой четкостью двинулась к выходу. Вера подождала, когда закроется дверь, поманила меня пальцем.

— Оставь себе эту трешку,— сказала она шепотом.

— Почему?

Она приблизила к губам палец и поглядела на дверь, которая вела в цех.

— Она твоя.

Я положила ее на прилавок, покачала головой:

— Ты же выписала квитанцию, я сама видела...

Вера засмеялась.

— Дурочка! — Сунула мне в халат деньги.— Все очень просто. Цветочнице я писала квитанцию без адреса и фамилии, а этой костлявой щуке по всем правилам на том же бланке, значит, одна квитанция механически исчезает, туфли уже получены, и проверить ничего невозможно. Дважды два четыре, понятно? — Вера засмеялась. Я вспомнила бабушку Кораблевых — я часто ее вспоминала. У бабушки в столовой оставался хлеб в блокаду. Скажем, она недодавала по крошке. Крошкой все равно не наешься...

— И часто ты... так?

— Что ты! Часто нельзя. Но на десятку в день натягиваю. Только молчи! Ты как-нибудь меня заменишь. Уйду в отпуск, а тебе деньги нужны. И потом я же твоя должница. За Игоря.

— А дядя Митя?

— Чего Митя?! Он же философ! Он сыт уважением, которое ему оказываешь ты.

В мастерскую вошел военный.

— Иди,— приказала мне.— И скажи тете «спасибо».

Я положила ей трешку. Она смахнула деньги в стол, даже не моргнув глазом. Потом я подмела полы в мастерской, сидела с дядей Митей, что-то говорила Вавочке, и когда они спрашивали, что со мной, я отвечала: заболеваю, у меня жуткая головная боль.

Вавочка несколько раз подходил ко мне. Я уже привыкла к его вниманию, теперь мне казалось — вроде бы так и нужно, чтобы он был рядом.

Потом мы шли вместе к дому, и он несколько раз спрашивал, что у меня случилось. Я не могла ему сказать, не хотела.

Он осторожно положил руку мне на плечо; я не сбросила, мне было даже теплее, что ли: вот рядом идет человек, которому я нравлюсь, который ко мне относится как-то по-особенному с первого дня...

— Может, я у тебя побуду? — нерешительно попросил он, когда мы остановились на крыльце.

Я протянула ему руку. Мне не хотелось его обидеть, и я скорее попросила, чем объяснила причину.

— Понимаешь... мне очень нужно побыть одной.

Как легко честному человеку жить большую часть жизни! Встает, умывается, идет на работу, трудится на совесть. И вдруг этот честный человек оказывается перед фактом, за которым должен последовать поступок. Действие. Личная смелость. Вот тогда ты и думаешь: что твоя честность — образ жизни? Факт поведения? Умение спрятаться, отвернуться от худого? В конце-то концов на улицах мы обходим канавы, полные грязи, разве нельзя и здесь так же...

Я лежу на кровати, разглядываю подтек на потолке, замысловатый узор. Вот тут же мы смирились с халтурой?!

Даже звонок в дверь не срывает меня с постели, мне лень двигаться. Я думаю, что это наверняка Вера.

Потом все же встаю, иду открывать, пропускаю Веру, а сама залезаю под одеяло.

— Ты чего? Заболела?

— Так что-то...

— Слушай,— говорит она вроде бы шутя, будто ничего не случилось,— я же тебя разыграла с этой трешкой, а ты сразу полезла в бутылку...— Она хохочет.— Ты железный человек, положительный образ. Поглядела бы на себя в ту секунду... ОБХСС! Уголовный розыск!

Она еще что-то там порет, а мне безразлично. Я думаю, что лучше уйти с этой работы. Не хочу быть немым свидетелем ее деятельности. Фактов у меня нет. А она несомненно уже свела концы с концами.

— Ладно,— говорит Вера,— я так просто, зашла на секунду. Приходи к нам. Мать опять собиралась печь что-то. Мои тебя любят.

Она протягивает мне руку, но я свою так и не вынимаю из-под одеяла. Тогда Вера слегка ударяет меня по животу, вроде бы прощается. Дружеское прощание выходит.

— Не вставай! — говорит она от дверей.— Лежи, кулема! — И перед тем, как захлопнуть, кричит: — Чао!

А мне еще хуже, чем было. Я противна себе за то, что не смогла ничего ей сказать, вернее, могла бы, да вот упустила время.

...Может, я поспала немного? Хлопнула дверь лифта. Кто-то процокал по коридору. Если Вера, то не открою. Придумываю лихорадочно причину.

— Кто?

— Лариса.

Входит. Смотрит на меня с удивлением.

— Ты что, заболела?

— Так, настроение.

— У меня к тебе просьба,— говорит быстро, без особых объяснений.— Нужно побыть с дедом. С Федором Николаевичем. Скрывать не хочу: Володя должен со мной поехать.— Вместо «спасибо» она бросает: — Спустись сейчас же!

Одеваюсь. Я даже рада ее просьбе. У Федора Николаевича я не буду думать о Вере, о том, что случилось.

И другое. Теперь мне вдвойне необходимо понять все про Кораблевых. Тот ли был портрет?

И если тот, я обязана рассказать Юрке. От того, как он поступит, мне кажется, у нас с ним зависит многое...

Спускаюсь на этаж.

Дверь распахивается. Поражаюсь, как выглядит Владимир Федорович. Не представляла, что он может быть таким модным. Черный костюм, белая в клетку рубашка, широкий галстук.

Лариса встает с ним рядом и преображается, этакая невеста с тихим, счастливым взглядом.

— Любочка, папа вас ждет, если нетрудно.— Он говорит виновато — мол, потревожил,— и я тороплюсь убедить, что рада их просьбе.— Папа доволен, что вы придете. Сегодня он чувствует себя прекрасно, вы убедитесь.

Прохожу в комнату, на кровати сидит старик. В его глазах появляется искорка улыбки. Он жестом приглашает меня сесть рядом. И когда я сажусь, он легко, будто это его собственная фраза, произносит:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

У старика худое, иссушенное болезнью лицо, взгляд немигающий, острый.

Мне страшновато. Я стараюсь не показывать этого.

— Очень рад, Люба, что ты пришла. Мне нужно поговорить с тобой, Люба. Сейчас же. До Володиного прихода.

Он откланяется на изголовник и несколько секунд лежит неподвижно, точно обдумывает ход странных своих мыслей.

— Видела?

— Кого?

— Володю.

— Конечно.

— И что скажешь?

Теряюсь.

Что я могу сказать старику?

А он приблизил ко мне лицо и нервно, блуждая глазами, шепчет:

— Все... Все... Он от меня уходит...

— Никуда он не уйдет,— пытаюсь я утешить.— Владимир Федорович всегда будет с вами.

— Но она!

— Лариса — прекрасный человек, честное слово! Друг. И вам она станет другом...— Он цепко сжимает мое запястье.— Давайте пить чай.— Я будто бы не замечаю его волнения.— Заварю свежий. Вам покрепче? Нет, наверно, не стоит...

Что-то меняется в его взгляде, появляется теплый лучик.

— Ты говоришь, неплохая?

— Хорошая, Федор Николаевич!

— Ставь чай, Люба! Чаю мне захотелось.

Он смеется, и я удивляюсь такому неожиданно легкому и светлому его смеху.

Я бегу на кухню, нарочно громко перебираю ложки, стучу крышкой чайника — пусть слышит, что я тороплюсь, готовлю.

И все же одна мысль меня не отпускает: нужно спросить о портрете.

Чайник уже теплый. Пока я кручусь и открываю кухонные тайники, раскладываю печенье, крышка начинает звенеть и прыгать.

Помогаю сесть Федору Николаевичу на кровати. Надеваю ему на ноги валенки. Подкладываю салфетку. Мне самой нравится, как я с ним нянчусь.

— В блокаду со мной жили три девочки, бывшие ученицы,— говорит Федор Николаевич, и я делаю вид, что впервые об этом слышу.— Они учились в седьмом классе. Ты-то постарше?

— Я уже окончила десять.

— Теперь в институт?

— Нет, провалилась.

Он все забыл.

— Ничего. Бывают трагедии и посильнее. Время исправит. Главное, время.

Он с удовольствием пьет чай, я держу перед ним блюдце с печеньем.

— В блокаду у меня жили сиротки,— повторил он.— Помню, у них была новогодняя елка. В театре. Я был вместе с ними. Шла оперетта. Ох, как же они смеялись! В жизни не слышал я лучшего смеха.— Слезы текут по щекам старика, утопают в бороде.— Потом их повели во Дворец пионеров. Кормили обедом. И представляешь, мои девочки не съели ни ложки. Переложили и суп и кашу в какие-то банки и принесли домой. Они хотели накормить меня, Люба...— Он словно перестает меня видеть.— С голоду девочки не погибали. Я менял все, что у меня было.— Он глядит в мою сторону, ждет вопроса и вдруг добавляет: — Одну девочку звали Люба. Была хохотушка. Если нет бомбежки, она, как колокольчик. Динь-динь! Славный человечек! Не помнишь?.. Последнее, что у меня оставалось,— портрет мамы, вернее, эскиз, работы Серова.— Старик повел рукой, вскинул голову, и я словно увидела ту женщину.— Я любил рассматривать портрет. Я будто слышал, как мама читала Шекспира...

— На эскизе... ваша мама, вернее, та актриса... стоит в полоборота? На ней глухое черное платье и колье?

Он не ответил. Я сидела рядом, опустив глаза, и отчего-то боялась поглядеть на Федора Николаевича.

Скрипнули пружины, и я почувствовала близко-близко частое, взволнованное дыхание. Лицо Федора Николаевича оказалось рядом.

— Ты... видела эскиз?

— Нет.

— Где ты видела эскиз, Люба?! Ты обязана сказать правду! — Он попробовал подняться, но не смог. Дыхание учащалось. Стали слышнее хрипы.

— Похожий портрет...— сбивчиво и испуганно проговорила я, надеясь, что его успокою.— У того мальчика, Юры, мы дружим... Вы же их знаете, Федор Николаевич...

Он наконец поднялся и, вытянув руки, двинулся к столу. Не дошел, повалился в кресло. Я страшно перепугалась.

— Они, они,— бормотал Федор Николаевич.— Я был уверен, что они рядом... А девочек нет. Люба, Оля, Нина, их нет, а те живы... Нет, нет, ты обязана, ты должна, ты сможешь... Время не реабилитирует подлость!

Федор Николаевич обессиленно сполз с кресла. Его глаза стекленели. Он хрипел, глотая воздух. Дыханием это назвать было невозможно.

Я бросилась, перепуганная, на кухню. Эмалированный таз стоял у стенки. Схватила его и, плача, стала наливать горячую воду. Что это за день такой, думала я. Почему на меня выпало столько несчастий?!

Он не чувствовал, как я стягивала с его ног валенки и шерстяные носки, и, когда я старалась посадить его поудобней, он клонился и падал.

— Федор Николаевич! — плакала я.— Миленький! Не нужно!.. Потерпите! Может, сейчас придет Владимир Федорович, он поможет... Что я наделала! Как я виновата!..

Старик дышал редко. С уголка рта стекала ниточка пены.

Я выскочила на лестницу, вызвала лифт, но ждать не могла, понеслась на улицу к автомату, звонить в «Скорую».

Ни один автомат поблизости не работал. Я не знала, что делать, и внезапно подумала: «Кораблевы! Да, да, они врачи! И они должны спасти деда, это было бы так справедливо!»

Как я оказалась перед их дверью, не помню. Не снимая, держала на звонке палец. На меня смотрела Валентина Григорьевна, праздничная, причесанная, из-за ее спины выглядывал Леонид Сергеевич. Оба были удивлены моим появлением.

— Я к вам, Валентина Григорьевна,— заговорила я, задыхаясь.— К вам. Как к врачу. Там умирает... старик Федоров... из нашего дома... Тот, сумасшедший... Вернее, он не сумасшедший, он был контужен во время войны, у него на глазах погибли дети... А теперь он умирает. Вы должны помочь, Валентина Григорьевна...— Я не могла и не хотела ей открывать другое. Сейчас главное — спасти Федора Николаевича.

Я боялась ее отказа, говорила что-то еще, хотя чувствовала, что нельзя больше терять ни секунды, нужно брать шприц, лекарства и бежать за мной — вот что ей оставалось.

Она теснила меня на лестницу, и я невольно стала отступать назад.

В комнатах горел свет. Сквозь матовые стекла в дверях я видела силуэты людей. Какое-то торжество отмечали Кораблевы. Из-за шума никто не обратил внимания на мой приход.

— Ничего не поняла,— сказала Валентина Григорьевна строго.— Кто умирает? И почему ты ко мне? Я не лечебник, а главный врач, администратор. Для лечения существует «Скорая помощь».

— Сейчас вызову,—крикнул Леонид Сергеевич.— А ты успокойся. Нельзя так, Люба.— Он держал рюмку, поставил ее на столик, пошел в кабинет.

— Как же так?! — Я все еще умоляла.— Вы же врач. Вы должны! Мы теряем минуты.

— То, что я должна, я знаю,— спокойно сказала Валентина Григорьевна.— Я сделаю, не волнуйся. Остальное ты скажешь врачу «Скорой».— В ее голосе появились административные нотки.

— Нет! — крикнула я.— Мне не хотелось, но раз на то пошло, я вам напомню. Вы, Валентина Григорьевна, просто этого старика забыли. Он, наверное, здорово изменился. А ведь это он бывал в вашем доме в блокаду и менял на хлеб ценные вещи. Это ведь он учил вас или вашу сестру урокам, и вы платили ему кусочком хлеба.

Она поглядела на меня, как на больную:

— Что ты говоришь, Люба, опомнись?! — Она прикрыла дверь поплотнее, повела плечами и с еще большим удивлением уставилась на меня.

— Может, тогда вы вспомните другое,— говорила я, плача.— Вспомните историю того портрета, что у вас на стене. Ваша мать выменяла его в блокаду...

— Ерунда какая-то! — сказала Валентина Григорьевна и невольно оглянулась.— Или ты сошла с ума, с ним наговорившись, или что-то иное... В блокаду я действительно жила в Ленинграде, но мне было шесть лет. Сестры же у меня нету. А портрет этот не наш, он был куплен после войны. Больше я не хочу с тобой разговаривать, хватит. У меня гости, как видишь.

Тут распахнулась дверь, и в коридор стали выходить люди. Захмелевшие, улыбающиеся, хохочущие. Они окружили нас, каждый что-то кричал — они шутили.

— Вас ис дас, Валечка? Что хочет этот очаровательный ребенок?

— Чем вам помочь, юный друг?

— Идите, идите! — Валентина Григорьевна замахала на них руками.— У Любы заболел сосед. Леонид вызывает «Скорую помощь».

В ее голосе не было раздражения. Она словно забыла о нашем разговоре.

— Я уже передал адрес.— Леонид Сергеевич вышел из своего кабинета и снова взял рюмку.— Встречай, Люба. Я не знал номер квартиры.

— Люба — одноклассница нашего Юрки, его товарищ,— объяснила гостям Валентина Григорьевна.

— Подруга,— многозначительно поправил кто-то.

Они веселились.

Я побежала вниз. Я будто бы окаменела. Что-то холодное и страшное почудилось мне в их пьяном смехе. И еще, что не давало покоя: неужели это другая семья, другая история — все так сходилось...

Нет, нет, позже! Главное — Федор Николаевич. Автобусик «Скорой» повернул во двор, остановился у нашего парадного.

Я бросилась через садик, перемахнула кусты. Молодой врач с усталым лицом стоял около кабины, из кузова вылезали фельдшера. Я взяла у них сумку с лекарствами, бросилась на лестницу.

— Скорее! — торопила я.— Там умирает...

Они пошли быстрее. Потом мы ждали лифта — кто-то поднимался вверх,— и я с удивлением глядела на их спокойные лица.

Дверь у Федоровых была распахнута. Медики прошли друг за другом по коридору, остановились над креслом, в котором лежал сползший, длинноногий, недвижимый Федор Николаевич. Волосы его растрепались, торчали клочьями.

Врач встал на колени. Приложил трубку к сердцу, еще раз. Поднялся.

— Сердцебиения не слышу, дыхания — тем более.

Он говорил так, будто бы вся его задача состояла в регистрации смерти.

— Но вас ждали! — крикнула я, на что-то еще надеясь.

Он поглядел на меня странным взглядом, попросил спички. Чиркнул. Поднес к зрачкам и опять покачал головой.

— Поздно.

— Можно попробовать,— робко сказал фельдшер. Ему хотелось меня успокоить.

Врач поглядел на него, пожал плечами.

— Ладно. Сделай адреналин в сердце.

Я вышла на кухню. Мысли исчезли. В голове пустота. «Умер»,— говорила себе я, но что это такое, не ощущала.

Как же так? Сидели вместе. Пили чай. Говорили. Потом я задала вопрос о портрете, потом — ни-че-го...

Неужели я виновата?

Из комнаты доносились голоса. Я не вслушивалась.

Скрипнула дверь.

— К сожалению, уже ничего нельзя сделать,— сказал фельдшер.

Они стояли мрачные в коридоре, опустив глаза, разговаривать никому не хотелось.

— Завтра пойдете в поликлинику,— сказал врач.— Получите справку. Это необходимо для кладбища.

— Я передам.

— Вы не внучка?

— Соседка.

Они вздохнули — мне показалось, облегченно.

— Тело мы перенесли на кровать и прикрыли,— сказал фельдшер.

— Спасибо.

Когда они закрыли дверь, я прошла к Федору Николаевичу. Он лежал на кровати. Через простыню проступал его каменный профиль. Рядом на стульях громоздились подушки.

Я думала, что уже ничего не смогу для него сделать. Слезы сами текли из глаз, чертовы слезы! Что же я скажу Владимиру Федоровичу?! Как погляжу на него?!

Стараясь не скрипеть половицами, я вернулась на кухню. Остановилась у окна. Может, я разучилась думать?

Кухонная лампочка без абажура отражалась в стекле, даже волосок ее был хорошо виден. Свет расползался кругами, рябил, образовывал многоцветные кольца.

Я закрыла глаза. Свет трепещет — кажется, я плачу. Рушится стена, летят камни.

И тут я ощущаю, что на меня смотрят. Оборачиваюсь.

Прислонившись к дверному косяку, стоит Владимир Федорович. Его черный костюм выглядит теперь нелепо.

— Люба! — кричит он таким шепотом, что мороз у меня бежит по коже.— Как это случилось, Люба?!

— Я пыталась помочь... Я вызывала «Скорую», когда начался приступ... Но все так быстро...

Он выпрямился и пошел снова в комнату. Я — за ним. Но не дошла, почувствовала, что больше не нужна здесь.

Потом я долго-долго бродила по набережной. Фонари погасли. До рассвета было еще долго, и мне казалось, что темнота — это моя защита. Я будто бы пряталась от очевидности, ночь защищала меня.

Кажется, никогда я столько не передумала о жизни. Ходила усталая и замерзшая, вспоминая то Федора Николаевича, то Ларису, то дядю Митю, то Веру.

Сколько разных людей за последнее время окружало меня! И теперь какая-то сила словно бы помогала мне во всем разобраться.

А может, я тот человек, у которого детство кончается сразу,— раньше я где-то об этом читала. И тогда наступает в з р о с л о с т ь.

И еще пришло мне в голову, что взрослость — это не возраст. Сколько есть взрослых, которые так ничего и не поняли в жизни! Они считают, что годы — это что-то вроде лестницы, год — ступенька, и путь по ним только наверх. Обзор же с каждой ступенькой яснее и шире.

Ан нет! Расстояние — очень часто! — причина иллюзий, миражей и обманов.

И еще я подумала, что, оказывается, самое сложное в жизни — научиться различать, где добро, где зло...

Я оглядела наш дом. Кораблевы спали, ничто их не тревожило сегодня. Спали Строевы.

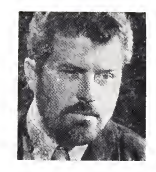
Окна не гасли у Федоровых. Было видно, как расхаживает из комнаты в комнату Владимир Федорович.

Потом я еще долго стояла у парапета и глядела на спокойную воду, и мне казалось, что нечто большое и значительное переселялось в меня. Что это? Я не могла этому найти названия, но оно было во мне, делало меня другой, более уверенной и сильной. И тогда это ощущение я назвала для себя — н а ч а л о.

●

Вадим Кузнецов





Цветы

Были, были у Антиповны мечты,
да за временем
позабывались напрочь.
развести под окнами цветы —
голубые,
чтоб зажмуривались на ночь.
Чтоб выстреливали
стрелками весной,
чтоб звенели, как бубенчики, при ветре,
чтоб такие,
как перед войной
видела на площади в райцентре.
Не одною думкой
был загад богат —
как подушку,
взбила в палисаде грядку.
Но пришел черед,
и ее солдат
под гармонь у клуба
заходил вприсядку.
«Вы прощайте, тополя,
Прощай, тополиночка!
Вы прощайте, мать, отец,
Прощай, моя милочка!»
Не простилась —
отломилась от него
и упала, словно ветка, на дорожку.
Горевала,
а немного отлегло —
посадила в палисаднике картошку.
Годы, годы...
Чем измерить их! Тоской!
Вдовьей каторгой, латающей разруху!
Одиночеством!
Обидами!
Судьбой,
превратившей
раньше времени
в старуху!
Виноватых нету.
Некому простить
горькое сиротство, медленную старость.
Только и осталось
думать и грустить,
горевать о давнем
только и осталось.
По ночам
в ней всходят
милые черты,
что за годами
позабывались напрочь,
да цветут во снах ее
цветы —
голубые,
что зажмуриваются на ночь.

✪

Лунный свет в ее глазах
тонет, будто в омутах,
спелых губ коснувшись робко,
застревает в волосах.
И волнуют без конца
тайны милого лица.
И все туже, туже обруч
обручального кольца.
Боже мой!
О, как бледна
эта женщина, жена,
эта девочка, что горько
двадцать лет тебе верна!..

✪

Мне в этой жизни
трижды повезло:
с Отчизною,
где выпало родиться,
с подругой,
чьей любовью не напиться,
с надеждой,
что дала мне ремесло.
Когда же свет покатится из глаз
(не стану лгать, что умирать не страшно!),
пусть повезет мне и в четвертый раз.
Пускай грачи гуляют по стерне,
молю вас,
солнце,
тополь,
ветер,
пашня,
пусть ляжет пух подобием сугроба,
чтоб ты не мерзла, кутаясь, у гроба,
печалясь и тоскуя обо мне.

✪

Вот опять болит душа,
только я не плачу.
Спозаранок не спеша
лодку конопачу.
Не спеша латаю борт
полосой железной,
хоть и знаю наперед —
это бесполезно.
Ну еще один сезон
или два от силы,
и нырнет она в затон,
в омут мутный, стылый...
Входит в дерево металл —
это мне не ново.
Я и жизнь свою латал
и латаю снова.
Правлю ночи напролет
мелью гнутый стержень.
Верю: может, поплывет,
вырулит на стрежень.
Отошел прилив, шурша,
млея от блаженства,
Но болит, болит душа
жаждой совершенства...
За околицей дергач
дергает все резче.
Кто-то скажет:
— Ты поплачь!
Может, будет легче.



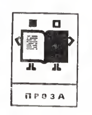
ВЕСТНИЦА

Рисунок Ю. ЦИШЕВСКОГО.

Юрий
АРАКЧЕЕВ

ВОЛШЕБНЫЕ ДНИ

РАССКАЗЫ



I

Максим ехал в метро, думая о невеселой перспективе долгих, однообразных дней. Всего две недели прошло с тех пор, как он вернулся из длительной и очень интересной командировки по Сибири (под конец смена впечатлений даже стала утомлять) и никак не мог прийти в норму. Он видел себя в знакомой обстановке, среди знакомых людей, но не узнавал. Как будто бы сильно повзрослел за эти два месяца, стал мудрее, но мудрость, увы, не принесла счастья.

Уезжая в командировку, зная, что она будет длительной и насыщенной, он заранее решил обдумать там, на свободе, один вопрос, который мучил его последнее время. Однако вопрос оказался настолько сложным, что Максим так и не смог решить его. Хотя понимал: решить нужно и решить навсегда. Жена уехала на юг с дочерью, письма от нее сначала приходили в каждый город на его пути и были неискренне ласковыми и жалобными, как обычно. Потом писем не стало. Максим вздохнул с облегчением. Однако, приехав, войдя в квартиру, наполненную ее вещами, понял: все еще не так просто. И, лишь получив письмо уже дома, хорошее, как всегда, но — наконец-то! — с неуверенной просьбой не возвращаться к ней, подумал: может быть, Рубикон перейден? И ведь только с самого начала письмо принесло облегчение. Потом стало хуже.

Он ходил и ходил по улицам, рассеянно глядя по сторонам, словно в ожидании встретить кого-то,— кого? — чувствуя себя незваным пришельцем. Люди казались равнодушными и холодными, никому ни до кого не было дела. И даже о командировке не с кем было поговорить. Все знакомые были настолько заняты каждый своим, что никто по-настоящему и не слушал его.

А теперь вот ехал в метро на встречу с сестрой — сам попросил ее пойти с ним в магазин (нужно было купить костюм, а он не привык делать большие покупки самостоятельно),— ехал и смотрел по сторонам. Люди шли, задевая друг друга локтями, плечами, боками,— шли рядом или обгоняли друг друга,— рябило от лиц, блестели глаза, слышался деловитый шорох и шарканье ног, покашливание, дыхание.

Он быстро миновал переход, обгоняя других, хотя в этом не было надобности: несколько минут оставались даже лишними,— и только на последней лестнице, сообразив, замедлил шаги. Вышел на перрон, привычно рассчитывая, где остановиться, чтобы оказаться на нужной станции прямо у выхода.

С поверхностной внимательностью оглядел пассажиров, которые так же, как он, молча и независимо расходились по платформе, примериваясь, в какую дверь поезда войти. Поезд показался в тоннеле, приближался с нарастающим грохотом. Максим огляделся еще раз.

Сзади по перрону шла девушка. Он успел заметить лишь зеленое мини-платье, темную копну волос и черные узкие очки, которые она почему-то не сняла даже в метро. Как грохочущее видение, вагоны уже проносились мимо, со скрежетом замедляя ход, мелькали их освещенные изнутри окна и голубые эмалированные бока. Девушка в зеленом платье остановилась чуть позади и спокойно ждала. В голове Максима как будто бы не было ни одной мысли, но сердце вздрогнуло и заколотилось.

Они вошли в одни и те же двери, девушка, которая оказалась чуть впереди, остановилась у самых дверей, прислонившись к перегородке, он пропустил вперед двух парней и успел занять место тоже рядом с дверьми. Напротив.

Она так и не сняла очки, стояла спокойно, с достоинством — тонкая ткань платья мягко льнула к стройной фигуре, но он был уверен, что она заметила его внимательный взгляд. Поезд набирал ход, мимо застекленных дверей пронеслись ярко освещенная платформа и мраморные стены станции, потом все погасло, лишь замелькали тоннельные фонари, в стеклах, как в зеркале, отразилась внутренность вагона. Между ним и ею оставалось свободное пространство — никто не встал у самых дверей,— и, время от времени глядя на ее лицо, Максим никак не мог преодолеть неожиданно охватившее его волнение. Что это с ним? Она вдруг сняла очки, провела пальцами по лицу, и он, не сдержавшись, бесстыдно глянул. У нее были большие зеленовато-серые глаза и слегка изогнутые темные брови. Никакой косметики. Как будто бы свежим ветерком повеяло в вагоне. Девушка стояла как ни в чем не бывало, держа теперь очки в руках, и в глазах ее сверкали проносящиеся фонари. Наконец она взглянула на Максима.

Хотя и редко, но все же бывают моменты, когда даже угрюмый расчетливый человек становится сущим ребенком: он готов тут же, не задумываясь, все бросить и лететь сломя голову туда, куда позвал его непонятно как появившийся голос. Максим не был ни угрюмым, ни расчетливым, однако с некоторых пор он начал замечать в себе симптомы угасания. После командировки это грустное чувство только усилилось. Что это — надвигающаяся старость или один из приступов мизантропии, периодически возникающий сплин? Но ведь ему едва за тридцать...

Жена Максима была слабая, очень неуравновешенная женщина, и он ни минуты не сомневался: ее последнее письмо — нечто вроде наивного шантажа, попытка заставить его как-то действовать, просить прощения неизвестно за что, клясться, умолять. Так бывало не раз. По приезде же опять начнется бесконечная, обволакивающая мозг путаница мелких требований, обид, невыполненных обещаний и слез. Этакая странная, непонятная для здравого ума борьба. В том случае, конечно, если он не решит окончательно и не уйдет. Не далее, как вчера, после фильма, который он просмотрел в одиночестве, Максим вдруг понял, что все последние годы обманывал себя. То, что он привык считать глубокой привязанностью и даже любовью, было на самом деле лишь его поражением. В сущности, она если и уступала ему иногда, то лишь временно, неизменно беря в конце концов то, что соответствовало ее и только ее требованиям, оставаясь такой же замкнутой в своем узком, далеком от него мирке. Правда, она частенько упрекала его в том же самом. Так что с обеих сторон был лишь невыгодный, изнуряющий компромисс. Когда-то он любил ее — во всяком случае, считал, что любит, испытывая порабощающий напор чувств, угар, непреодолимое влечение, которое возникало, правда, периодически... Но это ли любовь?

Поезд замедлял ход, в темень дверных окон ворвался блеск мраморных стен, но вот поезд, скрежеща тормозами, остановился, двери раскрылись с шипением, девушка повернулась и вышла. Это произошло легко и просто до нелепости, и, растерявшись на мгновение, с гулкой пустотой в голове, Максим повернулся тоже, разрушив охватившую его скованность, и вышел в бескрайнее пространство станции. Неловко лавируя в толпе, он сначала опередил ее, потом отстал, все время чувствуя, зная, что она идет не спеша и, может быть, ждет. Взрослый человек, ведущий себя, как девятиклассник. На эскалаторе он встал ступенью ниже, наконец-то ощущая некоторое успокоение, стараясь не смотреть на нее, решив, что лучше будет начать, когда они выйдут на улицу. Стоя позади, он чувствовал едва уловимый аромат духов и волос, и у него кружилась голова.

Эскалатор двигался медленно, очень медленно, и это равномерное движение успокаивало, тем более что не оставалось уже пути назад. Она стояла непринужденно как будто бы, изящно опершись на поручни и держа в руках черную сумочку и очки. Она ни разу не обернулась, но теперь он все же заметил и в ней некоторую скованность. Или ему показалось?

В вестибюле испугался на миг, потеряв ее из виду в толпе, но успокоился тут же, убедившись, что она не спеша идет позади. Когда выходили на ярко освещенную солнцем площадь, он шел уже прямо за ней. Толпа, расходясь, начала редеть, и, не теряя решимости, почти спокойно, он тронул ее за локоть и сказал:

— Девушка, одну минутку, извините, пожалуйста. Давайте познакомимся с вами...

Она обернулась и остановилась.

И как-то все изменилось вокруг. Была скованность, туман в голове, головокружение, а тут оказалось, что вокруг солнце, люди, августовская теплынь, старушка с цветами... И — стройная фигурка в зеленом мини-платье, повернутое к нему лицо.

Она смотрела с улыбкой и недоумением, но по тому, как она улыбалась и какое недоумение было, Максим тотчас понял, что да, не ошибся он, она действительно ждала.

Еще при самых первых встречах они — Максим и его будущая жена — часто заговаривали о свободе. Полюбив, они хотели предусмотреть все, чтобы совместная жизнь была счастливой. Чтобы и в браке оставаться свободными людьми. Это, конечно, совсем не обязательно предполагало супружескую неверность. Главное, казалось им, сохранить уважение друг к другу, честность и равенство, а в остальном каждый, разумеется, мог оставаться таким же человеком, каким был. Самим собой. Больше всего в браке не нравилась им довольно обычная, принятая почему-то большинством взаимная порабощенность, неминуемо ведущая к упрекам, обидам, подозрительности, изнуряющей ревности, а то и вражде. Искренне любящие как будто бы люди, становясь супругами, очень часто утрачивали святые чувства, и в конце концов их связывали лишь привычка и быт. Почему? Оба поначалу были уверены, что уж они-то смогут избежать столь нелепого, хотя и весьма распространенного финала,

Однако чуть ли не с первых же дней супружества Максима начала мучить странная мысль. В рассуждениях с глазу на глаз его жена оставалась как будто бы такой же — любящей, свободно и здраво мыслящей, преданной столь дорогим для них обоих принципам. Но в присутствии других людей и, видимо, без него (что следовало из ее же рассказов), она — на первый взгляд неуловимо, на самом же деле весьма существенно—менялась. Она как бы старалась подчеркнуть эту свою декретированную свободу до противоестественности. Зачем? Получалось, что именно в своем чрезмерном стремлении к свободе она оказывалась несвободной. Пока еще веря ей, он начал ощущать смутное беспокойство. Отгоняя назойливую подозрительность, он все же понял, что не мог бы поручиться за каждый ее шаг. И дело было вроде бы даже не в самом шаге — свобода так свобода в конце концов. Его пугало другое: это может произойти неожиданно для него. Предательски. И если это произойдет, он даже не будет знать, догадываться не будет. Он будет думать, что все по-старому,— она сумеет вести себя как ни в чем не бывало. Он, который думал, что знает ее, чувствует, начал подозревать, что ошибся. То, что она обычно говорит и во что как будто бы верит, на самом деле вовсе не обязательно присуще ей.

С этих пор ему не давали покоя маленькие противоречия, которые постоянно проскальзывали в ее словах и поступках. Вот, например, идут они по улице, жена огорчена чем-то, расстроена, чуть не плачет или рассержена. Чувства ее искренни и глубоки. Но стоит им встретить кого-то из общих знакомых, как она, словно по волшебству, меняется: ни намека на то, что происходило с ней только что. Все просто чудесно! «Зачем этот липовый маскарад?» — недоумевал он сначала. Потом заметил, что за глаза она очень часто совершенно иначе высказывается о людях, чем в глаза. Как же раньше он этого не замечал? Что в таком случае она рассказывает о нем своим знакомым? Чем объясняются непонятные, странные взгляды, которыми иногда награждают его в ее присутствии? Как вообще она живет без него? Какая она *на самом деле*? Чем дальше, тем больше он начинал понимать, что занимает, увы, слишком малую часть ее поистине свободного существа. А связывает их скорее влечение полов, чем обязательное, совершенно необходимое в супружестве родство душ. Он не мог, да и не хотел скрыть от нее свои наблюдения, она же, как будто бы не понимая толком, в чем он ее винит, в ответ сама стала подозрительной, мелочной и, по-видимому, испугавшись однажды, что он может уйти, желая почему-то во что бы то ни стало его удержать, начала изводить его беспочвенной ревностью, жалобами, слезами, не брезгуя при случае и шантажом. А тут родилась дочь.

Когда девушка остановилась и впервые посмотрела на Максима уже не случайно, а в ответ на его слова, и улыбка ее была предназначена ему — ему, а не безликому человеку в толпе,— он всем своим существом, мгновенно, не осознавая еще, почувствовал удивительное просветление в себе и вокруг. Как будто бы давно висевшая мучительная угроза исчезла.

Остановившись и обернувшись к нему с недоумением и улыбкой, она все же медленно пошла опять, сказав:

— Что вы, зачем?..

Он тут же растерял решимость, но машинально шагал рядом и, разозлившись на себя вдруг, решив, что все испорчено, она уходит, сказал, неожиданно переходя на повелительный тон:

— Уйти вы всегда успеете! Подождите же.

И слегка тронул ее руку.

Какое он имел право так грубо разговаривать с ней? И все же она замедлила шаг. Она улыбалась.

— Ну так как же? Вы не хотите? — сказал он все так же резко, не в силах остановиться.

По-прежнему улыбаясь, она опять глянула на него. И вдруг подняла руку на уровень груди и протянула сложенную лодочкой ладонь.

Он ошарашенно смотрел на нее, решив, что таким образом она прощается с ним, желая, чтобы он оставил ее в покое, машинально протянул свою руку и вдруг услышал, что она произносит имя. Женское имя. Только через несколько мгновений, уже пожав тонкую ее кисть, он понял, что это не прощание, что это наоборот. И назвался сам. «Ей лет 19, не больше!»— подумал, испытывая угрызения совести и радость одновременно.

— Ну, так когда же мы встретимся? — спросил теперь уже мягче, опомнившись.— Сегодня? Завтра?

Она пожала плечами.

— Завтра я уезжаю.

— Как? Куда?

— Домой. Я не в Москве живу. Из другого города приехала.

С чуть лукавой улыбкой она посмотрела на него сбоку.

— Завтра? Боже мой, завтра.... Из другого города... Так вот почему вы такая...

У него был несчастный вид, и она засмеялась.

— Какая же?

— Не... Незадерганная, что ли. Естественная.

Она промолчала, по-видимому, осмысливая, а он почему-то подумал, что вот она никогда не стала бы его ревновать впустую. И он не стал бы!

Через пять минут они сидели в сквере на площади. Словно по инерции он пытался говорить, чтобы развлечь ее, но получалось плохо. Она терпеливо сидела рядом и улыбалась рассеянно.

— Если хочешь, то прямо сейчас,— сказала она вдруг, первая переходя на «ты».

— Что сейчас? — опешил он.

— Пойдем куда-нибудь. До вечера я свободна.

Она смотрела на него опять запросто. Даже как будто бы и не волнуясь! «Что это может означать?» — мучаясь, соображал он.

— До вечера? А что вечером? — спросил машинально.

— Вечером я иду в театр. С братом.

Только тут он впервые посмотрел на нее внимательно, отстраненно, впервые пытаясь разглядеть. Сколько ей все-таки? Двадцать два? Восемнадцать? Мельком отметил, что у нее очень хорошенькое лицо, милый задорный профиль, чуть вздернутый носик. Загорелые колени... Какое-то беспокойство возникло. Он вспомнил, что ждет сестра. Да-да, сестра, верно. Времени, правда, мало прошло. Автоматически глянул на часы, успел мельком удивиться — действительно, как мало!

— Хорошо,— сказал он.— Хочешь, поедем на лодке?

— Хочу,— ответила она живо.

Сидели на лавочках невдалеке и двигались мимо какие-то фигуры. Какие-то голоса... Ладони и спина ощущали жар нагретой солнцем скамейки. Лодка, качающаяся лодка на теплых волнах...

— Только съездим предупредим сестру, она меня ждет. Хорошо?

Дружно встали, машинально он протянул ей руку,

она тотчас ухватилась за нее. Он шагал в полусне. Через дорогу перебегали, не расцепляя рук. Правда ли это все? Наяву ли? Инстинктивно встряхнул головой.

Держась за руки, входили в людный вестибюль, с трудом пробиваясь, ускользая от столкновений. Так недавно они вышли отсюда. Десять минут назад или вечность? Он и юная девушка в коротком зеленом платье теперь входили в метро...

— Что скажем сестре? — быстро спросил он, ощутив глупейшую потребность что-то немедленно делать, энергично действовать, сдерживаясь, сжимая в своей ладони ее миниатюрные пальцы.

Перед тем, как войти в вагон, им пришлось расцепить руки. Но когда вошли и, протиснувшись, оказались совсем близко друг к другу, ее маленькая рука сама нашла его большую. И уже привычно успокоилась в ней.

В вагоне было много народу, их прижали друг к другу, и Максим испытывал легкое головокружение. Он никак не мог привыкнуть к ее лицу, смотрел уже близко, не отводя глаз,— теперь она застенчиво отворачивалась,— но никак не мог разглядеть. Черты лица странным образом сливались и ускользали. То появлялась спокойная уверенность, что оба они давно знают друг друга, именно давно, нельзя даже сказать сколько. А то лицо вдруг казалось пугающе красивым, юным, замкнутым в себе, чужим. Сердце билось так сильно, что казалось, под его ударами слегка прогибается ткань ее платья. Оно даже как будто бы легонько подталкивало ее.

На следующей станции вышли, поднялись на эскалаторе, он попросил ее подождать и быстро нашел сестру в вестибюле. Сказал первое, что пришло в голову. Что встретил, мол, хорошего старого друга, который, к сожалению, сегодня же уезжает, им обязательно нужно поговорить. Это была почти правда.

Девушка в зеленом платье спокойно ждала его там, где он ее оставил. Подходя, разглядел ее сквозь толпу с чувством радости. Больше он не покинет ее! Волнуясь, опять взял ее руку. Теперь они свободны, впереди уйма времени. Они быстро побежали друг за другом вниз по ступеням. И опять вместе, плечом к плечу, вошли в вагон...

После рождения дочери жена Максима не изменилась. Не изменилось и его отношение к ней. Опять она говорила одно, а делала, с его точки зрения, совершенно другое. Ему же ничего не прощала. Любви уже давно не было. Куда она улетучилась? Да и была ли? С одной стороны, висело теперь ярмо долга, с другой — привычка и малодушная боязнь потерять. Усталость. Дочь была как будто бы похожа на Максима, однако он уже патологически не мог избавиться от оскорбительных сомнений. Тем более что кое-какие основания для них все-таки были. Теперь он точно помнил, что были... А впрочем, ему было как-то все равно теперь. И Максим и его жена измучились окончательно, постарели оба, и брак их словно в насмешку принял столь распространенную форму. Ту самую. Дочь в конце концов сплавили на юг, к родителям жены,— там, конечно же, ей будет спокойнее, лучше. А в это лето уехала к родителям и жена. Жена — на юг, а Максим — на восток в длительную командировку...

В полупустом громыхающем вагоне трамвая, продуваемом теплым ветром, Максим и девушка сели у окна. С отсутствующим выражением лица, словно по рассеянности, она вдруг склонила голову ему на плечо. Вздрогнув, он едва не отодвинулся. С победным грохотом и звоном трамвай выскочил на окраину. В окнах замелькали маленькие симпатичные домики, садики, сосны, освещенные солнцем. Запахло горячей хвоей.

Сев в лодку, он и она почти все время молчали. Только поначалу он пытался говорить что-то, шутить, но она была рассеянна, и он вскоре умолк. Но это было удивительное молчание. Можно даже сказать, что молчанием это как раз и не было. И показалось ему, что плывут они в голубоватом светящемся мареве очень давно и что они всегда знали друг друга. И было в молчании их что-то первозданное, истинное, хотя и по какой-то непонятной причине забытое.

Но самое удивительное было то, что чувство, которое он испытывал к ней, распространилось как будто бы и на все окружающее. Небо с сияющими облаками, плывущими, как сказочные фрегаты, мелькание белогрудых ласточек, веселая пляска воды, лодка, запах лодки — запах горячего дерева и краски,— и запах реки, сама девушка, сидящая на корме и осиянная солнцем, солнечные блики на ее коленях, стройных ногах, туфельках, ореол волос, блеск глаз, тяжелые округлые рукоятки весел в ладонях, скрип уключин, плеск волн, писк ласточек, далекие, какие-то разнообразные звуки, радость мышц, дорвавшихся до работы, ветерок, играющий волосами,— все это и еще очень многое, что невозможно и перечислить, составляло единую картину, в которой ничего нельзя было убавить. А она — она была средоточием, центром окружающей необычайной действительности...

Когда отплыли уже на порядочное расстояние от пристани и стало видно, что на берегу растет сравнительно высокая, не до конца вытоптанная трава, Максим захотел пристать. Она согласилась. Лодка ткнулась в берег. Грациозно балансируя, стройная спутница прошла мимо, задев его плечо шершавым, горячим от солнца платьем. Берег был действительно мало истоптан. А совсем рядом, метрах в двадцати от воды, стоял шалаш.

Собирая цветы, они медленно приблизились к шалашу.

— Иди сюда, смотри, как здесь здорово,— глухим голосом сказал он.

Изящно согнувшись, она влезла тоже. В шалаше было просторно, сквозь ветки у самой земли видно было цветы и траву. Было жарко, душно. К одурманивающему запаху сена и увядших листьев прибавился аромат ее духов.

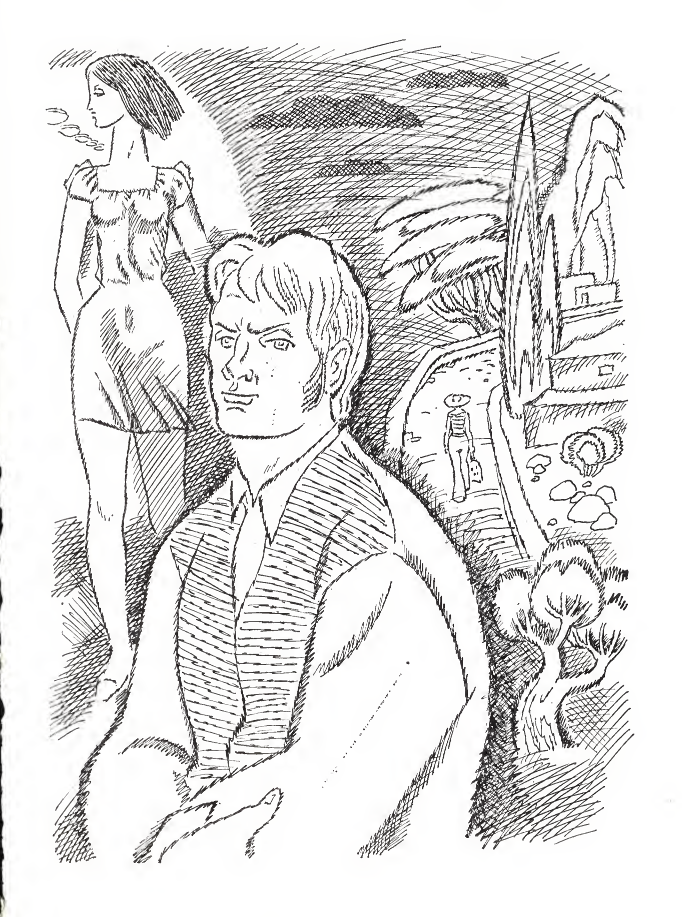
— Поедем,— сказала она вдруг и забеспокоилась: — Ты ведь знаешь, что мне к семи.

Да, на часах Максима было уже половина шестого. Не дожидаясь ответа, она первая выбралась из шалаша. Он, подчиняясь,— за ней. По траве, по цветам медленно вернулись к лодке

Странные чувства обуревали Максима, когда он вновь взялся за весла. Ощущение предстоящей утраты, печаль, досада. Девушка, не глядя на него, опять опустила свои длинные пальцы в воду. Он развернул лодку, поплыли. Теперь обратно. Солнце пекло ему спину, девушка была освещена вся, целиком. Золотистая кожа ее ослепляла. Она сидела на корме так покорно, и тело ее мягко покачивалось в такт резким движениям весел. Она была почти такая же, как раньше, может быть, чуть печальнее.

Недалеко от пристани река повернула, и свет солнца стал теперь боковым. Максим с новым чувством смотрел на ее серые туфельки, сжатые колени, зеленое платье, милое, задорное, немного грустное теперь лицо, волосы. Руки отказывались грести.

— Могли бы поехать ко мне в гости, правда ведь? — сказал он вдруг.— Как-то не пришло в голову...



— Ну, что ты,— спокойно ответила она.— Я бы все равно не пошла. А мне на лодке понравилось. Тебе не понравилось разве?

С раздражающим стуком лодка ударилась о мостки. Ощущая свое лицо как маску, он расплатился, взял ее под руку и, выглядя задним числом этаким лихим донжуаном, небрежно болтая о чем-то, повел к остановке.

Сели в трамвай. Теперь было гораздо больше народу, пришлось стоять. Она по-старому доверчиво, почти по-детски прислонилась к нему, а он стоял не шелохнувшись, отводя в сторону пылающее лицо. Потом вдруг, как бы нечаянно, положил руку на ее гибкую талию. Она слегка вздрогнула, но не двинулась. Однако рука Максима слишком дрожала, пришлось ее вскоре убрать.

Он старался не смотреть на нее и молчал. Он не хотел, чтобы она поняла. Да и потом, в ней ли дело? При чем тут она? Собственно, кто она такая? Обыкновенная девчонка из толпы, самая обыкновенная, ну, хорошенькая, может быть. Слишком молоденькая к тому же. Что он навоображал?

Трамвай довез до метро, они вышли. Ступили на эскалатор.

— Тебе до какой станции ехать? — спросила она.

Он ответил.

— А мне дальше. Только ты не провожай меня, ладно? Так лучше. А у тебя есть телефон?

Он сказал, что есть, что напишет сейчас, но она попросила назвать.

— Я запомню, у меня память хорошая.

Он назвал, продиктовал, глядя в ее глаза. Ему казалось, что из его глаз источаются какие-то струи, которые бережно смывают, гладят ее лицо.

— Все, запомнила. Перед отъездом я тебе позвоню. Ладно?

— Обязательно. И если будешь потом в Москве, тоже. Обещаешь?

— Конечно. Ну, пока. Все было хорошо, мне понравилось. Жаль, что уезжаю. Но я родителям обещала, ждут. Спасибо тебе.

Они простились за руку, как приятели. И она спокойно пошла. Как ни в чем не бывало.

Уже войдя в вагон и еще раз оглянувшись, он уже не увидел ее. Он не знал, куда ехать, что делать. Наверное, лучше бы он вообще ее не встречал.

Придя домой уже в поздних сумерках, Максим погрузился в состояние оцепенения. Он сидел в пустой квартире на своем семейном диване неподвижно, тупо уставившись в одну точку, до тех пор пока не стало совсем темно. Тогда он, не зажигая света, разобрал постель и лег.

А утром на столике зазвонил телефон.

2

Звонили из редакции с напоминанием о том, что сегодня — последний срок сдачи сценария. Да, нужно было садиться за работу. И словно оборвалось все вчерашнее.

Он поднимался нехотя, нехотя шел под душ, чистил зубы. Опять навалилась обычная суета, которая несколько скрашивалась, может быть, воспоминаниями о командировке, отсутствием жены. В общем-то не так плохо было в пустой квартире, освещенной утренним солнцем. Хотя, в сущности, это кратковременная передышка, не более. Приедет жена, все покатится по-старому.

Воспоминания о вчерашнем пока не слишком давали о себе знать. Он старался не думать. Из чувства самосохранения решил пока этот эпизод из памяти вычеркнуть. Ничего сверхъестественного ведь не произошло. И слава богу. Кратковременная случайная встреча, нечто вроде маленького «солнечного удара», если воспользоваться выражением одного писателя. Солнечный удар не слишком большой силы. Бог с нею!

Он сел за пишущую машинку.

Вот что мешало их семейной жизни всегда. Его работа. Не та работа, которой он занимается сейчас, не откровенная халтура. Писатель, если он хочет стать им на самом деле, должен работать много, забыв о постороннем. С его супругой это получалось не очень. Нельзя сказать, чтобы она не хотела его успеха. Она никак не могла понять, что для этого успеха нужно. Так или иначе она постоянно отвлекала его, то дергая из-за пустяков, то упрекая в недостаточном к ней внимании и ревнуя. Чего-то ей не хватало для того, чтобы стать выше и осознать, а потом по-настоящему полюбить работу мужа. Когда же появилась дочь, о работе вообще думать почти не приходилось. Он начал писать кое-какие поделки — статьи, обзоры писем, рецензии, телесценарии. В этом качестве удалось даже преуспеть, но ни он сам, ни жена не обольщались на этот счет. К тому же Максиму, а может быть, в глубине души и жене было ясно, что все это в один непрекрасный день кончится. Потому ли, что перенапряженные нервы Максима сдадут, или же оттого, что благоприятное для него положение в редакциях изменится и Максиму предпочтут кого-то другого — более оборотистого и покладистого. Он понимал, что совсем бросить работу «для денег» нельзя. Но чтобы получить на нее моральное право, надо было продолжать истинную работу, «для души». На что никак не хватало ни сил, ни времени.

Пока он сидел над сценарием, вымучивая его по строчкам, телефон, стоявший в прихожей, вел себя странно. Несколько раз принимался звонить, но когда Максим снимал трубку, в ней раздавались или частые гудки, или один сплошной. Была мысль вообще накрыть аппарат подушкой, как он частенько делал. Что-то около двенадцати он в очередной раз снял трубку и вместо гудков услышал запинающийся голос.

— Максим, это ты? — неуверенно спросили из трубки, и Максим тотчас понял, что это звонит она.

— Здравствуй... Я уезжаю вечером...— проговорил голос и смолк.

— Так, может, зайдешь? — спросил он, едва справляясь с волнением.

— А как? Где ты живешь? — робко осведомилась она.

И Максим объяснил.

Минут через двадцать раздался дверной звонок. На пороге стояла она. Она улыбалась. В руке у нее были три алые махровые гвоздики на длинных стеблях. Как-то очень запросто, между прочим, она протянула их ему. И вошла.

Когда она вошла, квартира незаметным образом потихоньку преобразилась. Воздух стал, что ли, свежее или солнца прибавилось? Было такое ощущение, что стены совершенно необъяснимым путем ожили, зазолотились и потеплели, а стол, диван, другие предметы чуть-чуть шевельнулись, стряхивая оцепенение. Было такое впечатление, что вместе с ней вплыло в комнату нечто таинственное, потому что стены, ограничивающие пространство, уже как бы ничего не ограничивали. И словно бы чувствова-

лась теперь за стенами бесконечность мира, залитого солнцем мира. И пряно, свежо, сильно пахли гвоздики.

Это было что-то необъяснимое, и Максим, не желая вновь, как вчера, впасть в полугипнотическое состояние, энергично встряхнул головой, разгоняя чары. Но никакого гипноза как будто бы не было. Наоборот, он чувствовал себя очень легко и свободно.

— Вот, видишь, тружусь. Сценарий сочиняю,— весело сказал он, указывая на пишущую машинку.— Сегодня сдавать.

Он сказал это очень просто и сам удивился, как естественно получилось. Он почему-то был совершенно уверен, что она поймет его именно так, как нужно, и не обидится.

— Не буду тебе мешать,— живо сказала она.— Садись, работай. У тебя есть что-нибудь интересное почитать?

Он дал ей журналы, посадил на диван и, сказав, что отнести сценарий нужно не позже двух, вернулся к машинке. Это было невероятно, но ему моментально удалось сосредоточиться. Сценарий пошел на третьей скорости, хотя он ни на минуту не забывал о ее присутствии, ощущая ее не только ушами (перелистывала журналы, шевелилась, вздыхала иногда), но даже кожей спины. Странное дело, этот отвлекающий момент вовсе не был сейчас отвлекающим. Совсем даже наоборот. Он нашел оригинальный сюжетный ход, который связал все в сценарии и оживил. Не бог весть какое художественное произведение, а приятно. Но главное — он ни разу не отвлекся! Нет, это было удивительно все-таки. Какой-то таинственный феномен.

Закончив сценарий, поставив последнюю точку, Максим нарочно посидел несколько минут молча, не оборачиваясь... В квартире был мир и покой. Слышался шелест переворачиваемых страниц, дыхание. Простучали легкие шаги — она подошла к окну. Потом опять села. А ведь даже стук шагов, даже шелест страниц можно сделать весьма выразительным. О, он это хорошо изучил.

— Я все сделал,— сказал он, оборачиваясь, оседлав стул.— Но теперь нужно отвезти. Ничего не поделаешь. Хочешь со мной?

— Это далеко?

— Нет, не очень.

— А удобно?

— Тебе придется минут пятнадцать подождать в проходной... Впрочем, если хочешь, останься здесь, подожди.

— Нет, поедем. Если только я не помешаю. Я с удовольствием. Даже интересно.

И они поехали в редакцию вместе. Пока ехали, он несколько раз внимательно смотрел на нее. Да, она действительно была хороша. Ростом не намного ниже его, хорошо сложена. Лицо не слишком правильное, но именно в неправильности неизъяснимая прелесть. Да, он еще раз убедился, что очарование ее не в деталях, а в удивительной гармоничности, живости и раскрепощенности ее. Впрочем, фигурка у нее была просто великолепна. Глядя спокойно, по-новому открывая ее, он воспринимал эти объективные качества как подарок. Она вполне могла бы быть и менее хороша, вряд ли бы отношение Максима к ней изменилось. Но то, что она была, к р о м е т о г о, хороша, воспринималось теперь как везение, как улыбка судьбы.

— Я быстро, минут пятнадцать, ты посиди здесь,— сказал Максим, оставляя ее в проходной.

И ринулся в пронизанное электромагнитными волнами пространство. Над всей довольно обширной площадью телестудии, над корпусами, над автобусами-гигантами ПТС и микроавтобусами, над прожекторами и другой телетехникой, над множеством появляющихся то здесь, то там фигурок неодолимо и безраздельно господствовала стальная ажурная вышка. Искалеченное, израненное, иссеченное на куски пространство как будто бы слегка дрожало. Максиму казалось, что волны пронизывают его насквозь, до внутренностей, до мозга костей, до клеточных ядер — и все клетки организма тоже начинают дрожать в унисон, а в голове возникает легкий, едва ощутимый зудящий звон.

Он, торопясь, шагал по дорожке вдоль корпусов, чувствуя себя маленьким, незаметным под сенью вышки, он спешил, помня, что там сейчас она осталась одна. Такая трогательная, беззащитная... Скорее, скорее сдать — с плеч долой, и — за город, с ней, куда-нибудь на природу, подальше, куда-нибудь...

Впрочем, в самом корпусе и в редакции было как будто бы очень обычно. Обыкновенное учреждение, только, возможно, чуть более взвинченны все. Чуть больше усталости в конце дня.

Редактора на месте не оказалось. Собственно, ничего удивительного — таков уж он был, телевизионный стиль, можно назначить и по рассеянности уйти, можно вообще забыть все на свете. Нервничая, Максим посидел минут пять.

— Он здесь вообще-то. Вы посидите,— сказал ему другой редактор из-за соседнего стола, подняв от рукописей блуждающий взгляд.— Его портфель в шкафу. А на столе — видите? — папка...

Да, папка была, и портфель из шкафа торчал. Не хватало, чтобы он и совсем ушел. Но нельзя ждать! И Максим отправился в поиск. Он заглядывал по очереди в комнаты этажа, всматривался в каждого встречного, но редактора — невысокого, угрюмого человека с выразительными восточными глазами — не было нигде. Наконец кто-то надоумил посмотреть в буфете. Редактор сидел за столиком, меланхолически жевал бутерброд и пил минеральную воду...

Выходя со студии, Максим ожидал увидеть ее обиженной или уставшей (а может быть, и вообще не увидеть: его не было не 15 минут, а целых 35!), но встретил просиявшее при виде его лицо, на котором не было и тени упрека. И опять на него повеяло свежестью. Глаза, лицо, вся ладная фигурка ее были маленьким автономным миром, необычайно устойчивым даже здесь, даже в этом наисовременнейшем суетном аду.

— Пойдем быстрее отсюда, пойдем,— сказал он, беря ее за руку.

Но опять скоро нужно было ей уезжать. Когда они шли по улице, удаляясь от вышки, он понял вдруг, что те часы, которые вновь были отпущены им — неожиданно и щедро,— они опять провели не так, как, видимо, нужно было бы, как хотелось. И опять слишком поздно он спохватился. Ведь можно было бы наплевать на сценарий.

Она сказала, что не успеет к нему заехать, скоро поезд, и чтобы он посадил ее в метро, а дальше не провожал.

Что было делать? Взять адрес, бросить все к черту, приехать? Или оставить ее у себя, добиться развода, подыскать комнату, начать все сначала? Вспомнилось, как рада была квартира ее приходу — совсем иными, колючими и враждебными становились вещи во время частых семейных ссор! Промелькнула сумасшедшая в своей непомерной

радости мысль о том, что с ней, видимо, он смог бы работать...

Но... у нее родители, о которых он понятия не имеет (и они о нем), и — самое главное — она поступила там, в своем городе, в институт. Отпустить ее сейчас, а потом все обдумать? Если бы можно было перевести ее сюда, в какой-нибудь институт, близкий по профилю...

— В каком же институте ты будешь учиться теперь? — спросил.

— В политехническом.

— Сколько тебе лет все-таки?

— Семнадцать.

Еще одна новость, еще одно. Несовершеннолетняя. Акселерация, веяние времени. Она ровно в два раза моложе его. Ровно вдвое.

— Ну, что же, до свидания? — сказала она, опять весело глядя ему в глаза.

— Боже мой, что же делать? — в отчаянии проговорил он.

— Я приеду к тебе как-нибудь. Обязательно. У меня же есть твой телефон. И квартиру знаю.

— Да, конечно. Конечно, обязательно приезжай. Институт — вот в чем загвоздка. Я понимаю, конечно. Институт.

— Ну, так до свидания же. Я пошла. Спасибо, все было хорошо...

Они уже были в метро, под землей, уже на станции. Сказав последнее, она повернулась и вошла в вагон, который как раз стоял наготове. Дверцы сдвинулись. Сквозь стекло он видел ее лицо и видел, как она слегка машет ему рукой. Вагон дернулся, и изображение за дверьми унеслось в тоннель. Поезда не стало, только ветер гулял. И адреса не оставила.

С совершенно трезвой, будничной ясностью Максим понял, что повторился вчерашний вариант. С небольшими отклонениями в смысле декораций. Вчера было метро, трамвай и лодка, сегодня — его квартира, телецентр и... опять метро. И опять она уехала, оставив его одного. Совсем одного. Приедет... Приедет ли? Семнадцать лет — все забудется скоро. Институт, в который трудно было, наверное, поступить, новые интересы, встречи. Город... Она сказала, что родом не из самого города, а из поселка. Теперь будет в городе. То немногое, что было у них, забудется быстро. Тем более в семнадцать-то лет. Для него событие — для нее... Так, нюансы. Надо прожить полжизни и перечувствовать кое-что, чтобы по-настоящему оценить... Максимом вдруг овладела ненависть к самому себе. Сценарий! Как он мог возиться со сценарием, когда... О, боже, нудный, расчетливый сухарь. Сам, сам виноват во всем. И жена ни при чем. Только сам.

3

Но и в тот вечер девушка не уехала. Она позвонила Максиму утром. И сказала, что если у него есть время, они могли бы пойти в кино.

— Хорошо,—ответил он.— Но послушай... Может быть, ты просто приедешь ко мне?

— Нет, Максим, лучше не надо. Давай лучше сходим на что-нибудь днем, хорошо? А потом погуляем. Сегодня должна же я наконец уехать.

Настаивать было бы глупо, и он согласился.

В кино с ним происходило нечто невероятное. Только один раз, очень давно, сидя в кино со знакомой девушкой, он испытывал нечто подобное. Но тогда быстро прошло, хотя он помнил о том случае до сих пор. Сейчас было сильней несравнимо. Ему казалось, что тело его плавится, распадается на молекулы, хотя мышцы были напряжены и дрожали. Примерно то же самое, по-видимому, происходило и с ней.

— Уйдем,— несколько раз предлагал он ей.

— Нет. Пожалуйста, нет,— жалобно просила она, и они сидели.

Он только в самом начале держал в своей руке ее руку, но потом она мягко отняла ее, и они не прикасались друг к другу. Сеанс кончился.

— Может быть, все-таки зайдем ко мне? — тупо спросил он, когда вышли.

— Нет! — испуганно сказала она.

Впервые он видел ее такой.

— Знаешь, давай зайдем все-таки,— предложил он через некоторое время гораздо спокойнее.— Ничего не будет, не бойся. Мне хочется, чтобы ты побывала у меня еще раз. На прощание.

Они вошли, и квартира при виде ее опять встрепенулась.

Она была у него, ходила по комнате, ставила что-то на стол — чашки, рюмки — он, глядя на нее, стоял у окна, касаясь щекой портьеры, которая тоже, кажется, была сейчас шелковистее, мягче — от ее присутствия! — и в комнате звучала неизъяснимая, чарующая, воспринимаемая всеми клеточками и его и ее существа музыка. Мелодия была прекрасна. Она была прекрасна потому, что один инструмент не подчинял себе до конца другой — они шли навстречу друг другу, и сливались в гармонию, и расходились вновь, и каждый из них звучал богаче в присутствии другого, но всегда можно было различить партию каждого, несмотря на то, что общая мелодия была несравненно прекрасней. Это был унисон, резонанс — то удивительное явление природы, когда сочетание элементов рождает нечто гораздо большее, чем простая сумма слагаемых. Не было оправы и камня, фундамента и надстройки, главного и второстепенного, хозяина и раба — было удивительное взаимопроникновение и взаимодействие, божественное, гармоническое единство...

— Знаешь, Максим, я влюбилась. Я люблю тебя,— без всяких околичностей сказала она вдруг, и это было, как дыхание, просто.— Только, пожалуйста, не подходи ко мне близко. Пожалуйста. Очень прошу, на самом деле. Не обижайся. Умоляю тебя. Я тебя люблю.

В мути, внезапно обволокшей его мозг, он попытался приблизиться к ней. Из последних сил она ускользнула, он видел — из последних сил. Он все же держал себя в руках и уже сейчас, уголком сознания, был неожиданно горд этим.

— Все-таки мне лучше уйти, Максим. Прости. Пожалуйста. Так будет лучше? Ладно? До свидания. Перед отъездом я тебе еще позвоню, обязательно. Завтра я наконец уезжаю. Я люблю тебя. Прости.

И она ушла. Невероятно, но она ушла.

Она ушла из квартиры, он смотрел в окно, видел, как идет она, маленькая ее фигурка, идет, не оборачиваясь, чуть ссутулившись, наклонив в растерянности голову, и какие-то нити рвутся, причиняя боль. Он чувствовал, он слышал, что переживает сейчас она, знал — и бережно брал в ладони игрушечную отсюда, сверху, с четвертого этажа, фигурку, осторожно согревая в ладонях. Вот она скрылась. Ушла.

Он ходил по комнате, не находя себе места, не зная, что делать в течение всего вечера, чем

занять себя. Бесконечно занятый как будто и так! Он рассеянно смотрел на стол, на котором расплывалось мороженое, отвлеченным каким-то символом коченела бутылка, наполненными и нетронутыми, холодно, рубиново посверкивая, стояли рюмки. Белела внутренность чашек. Утихало смятение, успокаивался, оседал послушно абстрактный вихрь— надвигавшаяся гроза, так и не разразившись, рассеивалась... Она ушла, эта мудрая маленькая женщина. Она ушла.

Он смотрел в окно — на улицу, освещенную, осиянную ее недавним присутствием,— улица еще не забыла ее, еще свежи следы, еще цела вогнутость на асфальте от маленьких каблучков, еще где-то близко — не унесены еще ветром — молекулы, которые она выдыхала, еще и окна и стены домов помнят поспешное ее движение...

Он сел на подоконник, понимая, что теперь нечего ждать. Все уже есть. Он дышал глубоко, словно и сам воздух вокруг него изменился, и, не подгоняя себя, не сокрушаясь и не страдая, думал. Думал о ней.

Зазвонил телефон. Он вздрогнул, напрягся, мгновенно взвилось, закружилось все снова, задергалось, затрепыхалось сердце, словно на привязи... Да, это была она. Волнуясь, срывающимся голосом на том конце провода — где?.. где?..— она просила прощения за то, что ушла, сказала, что позвонит перед отъездом еще, обязательно.

— Я люблю тебя,— повторила она на прощание.

Успокоенный и тихий, он вернулся в комнату, не понимая, чего сейчас больше — благодарности или грусти.

Она звонила на другой день утром. И снова он провожал ее. Опять в метро. Она сказала, что ее старший брат за ней очень следит — всегда встречает,— и есть еще тетка, так что лучше, если он до конца не будет ее провожать.

— Я провел три просто чудесных дня, я хочу, чтобы ты знала,— сказал он, когда они спускались на эскалаторе.— Меня страшно тянет к тебе, так никогда не было...

— И меня,— успела она вставить.

— Я никогда не забуду,— сказал он.

— И я,— эхом отозвалась она.

Странно. Они расставались, а у него не было горечи. Такая естественная она была опять, такая свободная. Трудно было пока осознать, но и он чувствовал в себе нечто новое. Не было тяжести, грусти. Подземная станция переливалась красками, звуками. Люди тоже почему-то казались не такими безликими.

— Записать мне твой адрес? — спросил он странно.

— Зачем, Максим? — просто ответила она.— Что ты будешь с ним делать? Ты работай. А у меня институт. Я ведь знаю твой телефон и помню квартиру. Я приеду. Позвоню и приеду. Я ведь не забуду тебя. То, что было,— было. Никуда не денется. А теперь иди. Не оглядывайся, иди. Я хочу, чтобы ты ушел первый. Все было хорошо, ведь правда? До свидания.

Он долго смотрел на нее, зная, что это в последний раз. Потом повернулся и пошел, не оглядываясь.

Поначалу была и растерянность, и тоска, горечь, и мысли о безнадежности... Но — поначалу только. В этот раз она действительно уехала.

Она уехала, эта стройная девушка из толпы, эта вестница чего-то. Чего?

В вазе на его письменном столе пламенели гвоздики.

●

СВЕРКАЮЩАЯ ГОРА ОКУНЕЙ

Рисунок Г. АВЕТИСЯН.

Вышли, когда светало. Был мороз, от которого слипались ноздри, хотелось спать. Шагали по скрипучей тропинке посреди водохранилища, а кругом, куда ни глянешь, было только серо-голубое, и на берегу аккуратным строем стояли сосны. Потом взошло солнце, большое и красное, и по снегу от него побежала розовая дорожка прямо к Володиным ногам.

Рыболовы остановились. Они разворошили голубой снег, продолбили лунки и сели ловить. Но рыба не клевала, и Петр Сергеевич сказал, что надо искать другое место.

Они много ходили и много видели, но все в конце концов слилось в бесконечную ленту — Володя устал,— и, вспоминая потом об этом дне, он представлял себе что-то бело-голубое, яркое.

За весь день Володя так ничего и не поймал.

Однако вечером когда они вернулись в Дом рыбака, их ждало чудо.

В комнате было тихо, рыбаки столпились в тесный кружок, а в середине — Володя протиснулся и увидал,— в середине сверкала гора окуней. Они лежали в электрическом свете, зелено-желтые, в снежной пудре, с мутными, сонными глазами. Видно было: они попали сюда по недоразумению, чудом, и люди вокруг стояли, оцепенев, и молчали. Только один, в кожаной меховой тужурке, тот, что сидел рядом с окунями, красный, улыбающийся, утирал пот со лба и смотрел на всех с торжеством. Так вот они какие!..

Некоторые еще шевелились, ворочались неуклюже, сбивая облепляющий их снег, стараясь вывернуться, уйти, плеснуть в холодную прозрачную глубину. Как будто не понимали, что это для них конец.

— Вот это да! — сказал кто-то.

И тогда заговорили все разом, перебивая друг друга, споря, махая руками, крича.

Володя стянул с головы шапку и стоял бледный, взъерошенный, а когда закричали, зашевелились, засмеялись громко, он, растерянный, слабый, озирался вокруг, не понимая, что происходит, совершенно подавленный происшедшим.

— У Дома отдыха МХАТа,— сказал кто-то.— Он поймал их у Дома отдыха МХАТа!

Так вот оно что!.. Фраза эта повторялась со всех сторон вопросительно, восклицательно, удивленно: «У Дома отдыха МХАТа!..»

Наконец все успокоились и принялись ложиться спать, с тем чтобы встать завтра пораньше.

Володе снились непонятные, голубовато-синие сны.

Проснулись рано — еще было темно — и вышли в предрассветную мглу. Некоторые даже встали на лыжи и, отплевываясь и кашляя, зашуршали, заскрипели, затопали к далекому берегу. «У Дома отдыха МХАТа!..»

Пришли наконец на место — Володя с Петром Сергеевичем одни из последних,— усталые, запыхавшиеся, и в груди у Володи пекло, как от быстрого бега. На берегу в лучах выплывающего уже солнца алел фасад двухэтажного дома с колоннами, с искрами-окнами: Дом отдыха МХАТа. Вдоль берега беспорядочной полоской рассыпались точки рыболовов — весь Дом рыбака. Молчали, дышали часто и громко, утирались платками, шарфами, шапками и долбили, торопясь, лунки, и из-под пешен сверкающими стеклянными фейерверками летели осколки льда.

Однако никто ничего не поймал. Никто не поймал ни одного окуня, который мог бы сравняться со вчерашними — теми, в избе.

Уже забегали, застучали пешнями вновь, кое-кто принялся завтракать. Уже послышались шутки и смех, отчаянно заколотили себя по бокам, чтобы согреться. Уже самые беспокойные ушли в поисках далеко — вдоль по берегу и на простор водохранилища, на глубину. Уже и Петр Сергеевич отошел далеко от Володи и снова упорно долбил лед, злой, вспотевший. А Володя все сидел над своей лункой, надеясь, веря.

Солнце, проделав мартовский путь, тонуло во мгле. Темнело. Все потянулись назад в сумерках. Шли и Володя с Петром Сергеевичем. Шли, не спеша, переговариваясь, обсуждая планы на завтрашний день. Должны ведь они нащупать стаю, смог ведь тот наловить. Вот повезло человеку...

Конечно, конечно, им обязательно повезет, обязательно. Не сегодня, так завтра. Есть ведь еще день. Просто стая отошла на другое место — они найдут ее.

— Мы ведь наловим, да? Наловим? — повторял Володя, забегая вперед и снизу заглядывая в лицо Петра Сергеевича.— Ведь правда? Ведь правда?..

И он опять жил завтрашним днем, словно не было сегодняшнего, не было неудачи.

Но едва Володя с Петром Сергеевичем обмели березовым веничком снег с валенок у порога, едва зашли в накуренную тусклость прихожей Дома рыбака, едва стянули с плеч тяжелую, пахнущую морозом одежду, как тотчас услышали разговор:

— Что? Наловил? Ха! Он купил ее. Купил! Там сети поднимали, вот он и купил. А утром сегодня в город поехал, продавать. Так что зря старались, хлопчики, зря спешили. Вот ловкач, ха-ха!

— Что? Что вы сказали?

— Что он сказал? Ведь это неправда? Неправда?!

— Ха-ха, не только ты, хлопчик, поверил! Мы-то вот дураки большие, нам-то уж надо бы...

И тогда что-то странное случилось с Володей.

Он кинулся вперед, оттолкнул кого-то и, распахнув дверь, ощутив мгновенно, как охватило его морозом, бросился в темень леса.

Не все сообразили сразу, кто-то выругался. Петр Сергеевич в этот момент отошел к печке и не видел. Вдруг кто-то понял:

— Что с мальчишкой?!

И заторопился к двери.

Володя бежал наугад — «он купил их! купил!» — чудом найдя дорогу, не видя ничего в наступившей уже темноте, слепой от обиды, от электрического света избы, от слез. «Все обманывают, все, все!..»

Сзади хлопнула дверь, тонкий луч скользнул по сугробам, погас.

— Володя! Володя!

Володя сбился с дороги, барахтался в глубоком, выше колена, снегу, проваливаясь, с трудом выдергивая ноги, падая, хватаясь за снег руками, отводя от лица холодные, скользкие и колкие, пахнущие морозной хвоей ветви, сбиваясь с дыхания — «все обманывают, все! зачем?» — споткнулся, упал окончательно, зарылся лицом в сыпучий, свежий, чистый и мягкий снег...

— Володя! Володя!

Забегал, заметался луч карманного фонаря по снегу, по елям. Теперь слышалось уже несколько голосов, досадливо и часто хлопала дверь.

— Куда он побежал? Что случилось?

— Обидели мальчишку — вы что, не поняли?!

— Володя! Володя!

— Следы смотрите... Ищите следы!

— Чеканутый мальчишка, ей-бо, чеканутый...

Его нашли, отряхнули от снега, привели в избу.

— Разволновался, просто разволновался, бывает,— оправдываясь, говорил Петр Сергеевич. И улыбался извинительно.

Володя успокоился вскоре, утих. И взрослые тотчас же позабыли об этом случае. Нервный мальчик, балованный, подумали некоторые. Только Петр Сергеевич курил папиросу за папиросой и, сидя рядом с засыпающим Володей, утешал его. Он утешал его так:

— Ведь это случайность, сынок, мы еще наловим, не сомневайся. Мы еще завтра... А в апреле — мы ведь поедем еще раз, да? — в апреле мы наловим еще больше, чем он,— будут длинные дни. Мы приедем специально... Мы с тобой всех обловим — посмотришь, не унывай. Не унывай, сынок, всяко бывает...

— Он обманул, обманул. Вы все обманываете, все, все... все...— машинально повторял Володя, засыпая.

— Ну, я обещаю тебе, обещаю. Меня тоже обманывали, понимаешь? Думаешь, меня не обманывали? Что ты, сынок, что ты. То ли еще будет. Ты держись, сынок, надо держаться. Люди они все же хорошие, не всегда ведь так-то...

— Странная реакция у мальчика, не правда ли? — сказал сосед Петра Сергеевича, стягивая валенок с ноги.— Это сын ваш?

— Что? Странная? Ничего себе, странная... Это мы привыкли, пообтесались, так сказать. Нам-то что, конечно. Нам — все равно. Неужели вы-то не понимаете? Не сын это, племянник мой...

Сосед Петра Сергеевича ничего не ответил. Он разделся, улегся на койку, вытянулся на спине, закурил папиросу.

— Послушайте, вы не спите? — спросил он через несколько минут.

Свет потушили, и во тьме алел огонек папиросы.

— Нет,— ответил Петр Сергеевич.

— Знаете, давайте завтра исправим? Вместе пойдем, а? Я тут одно местечко знаю. Я ведь и сегодня полчемодана наловил, хороших. Только не показывал. Поможем мальчику, верно?

А Володе снилась гора окуней. Во сне он забыл обиду и неудачный день и теперь опять сидел около лунки, глядя на свою нарядную — тоненьким прутиком — удочку, на розовый в лучах восходящего солнца фасад Дома отдыха МХАТа, с колоннами, с искрами-окнами. И ловил окуней. Они были большие, они ворочались у него в руках, толстые, неуклюжие, теплые почему-то. Володя смеялся от сча-



стья, а рядом с его лункой на солнце сверкала гора окуней...

Наутро они опять встали рано и опять зашуршали, заскрипели, затопали к далекому мысу. Их было трое теперь. Как и вчера, все кругом было серо-синим, застывшим, все ждало солнца, которое уже поднималось, медленно, нехотя просыпаясь.

Володя забыл вчерашнюю обиду — он жил своим светлым, радужным сном. Он знал теперь, что они ничего не поймают, и не жалел об этом.

И ему было очень легко идти. Он оглядывался по сторонам, вдыхая полной грудью морозный голубой воздух и замечая все. Сосны? Сосны на берегу похожи на фаланги стройных рыцарей, ну, конечно... Восходящее солнце освещает их рыжие доспехи, зеленые кудри, и они стоят, оцепенев, выжидая... А впереди — огромная синяя равнина...

А сами рыбаки — разведчики, космонавты. Они прилетели на другую планету и шагают, разглядывая рыжих и стройных зеленокудрых великанов, шагают по голубой, непривычной «земле», оставляя глубокие синие провалы следов. Что же все-таки произойдет здесь, когда поднимется высоко в небо вон тот странный багряный шар, от которого протянулись розовые длинные пики?..

— Скорее, Володя, скорее, хватит оглядываться,— повторял Петр Сергеевич деловито, и они шли, они торопились.

Пришли наконец на место — на вчерашние счастливые лунки доброго рыболова. Володе уступили самую добычливую из вчерашних. Кругом не было других рыбаков — это место не пользовалось популярностью,— а на близком берегу серебрились березы... Их много, они тоже необыкновенные, они тоже ждут чего-то. Может быть, они ждут турнира рыцарей? Из серебристых они постепенно становятся розовыми...

Володя размотал леску на своей удочке, насадил мотыля на крючок мормышки и кинул в прорубь. Как по волшебству, у него клюнуло тотчас. Петр Сергеевич много раз учил его, как подсекать, и теперь Володя без труда вытащил большого ленивого окуня. Ничуть не удивившись, как будто так и должно быть, Володя отцепил его и бросил около лунки. И вытащил еще... Окуни были большие, казалось, что они даже крупнее, чем те, в избе.

Петр Сергеевич и добрый рыболов тоже вовсю таскали больших окуней. Стая, которую рыболов нащупал вчера, не только не ушла, но, по-видимому, даже увеличилась и проголодалась. Взрослые суетились оба, их лица горели, они уже ничего не замечали вокруг, даже Володю. Около каждого росла гора окуней.

А солнце тем временем поднялось. Оно сверкало теперь нестерпимо — на него было больно смотреть. По широкой заснеженной равнине протянулись голубые и желтые полосы. Послышались легкие шелесты, шорохи. Что это?.. Как странно: березы опять изменили свой цвет — они теперь желтые. Они неподвижны пока. Или это только так кажется?..

Окуни... Они очень красивые, когда живые,— яркие, пестрые. И тусклые и печальные, когда застывают...

Клев был на славу. Петр Сергеевич и его новый знакомый наловили уже помногу. А Володя... Мормышка, сверкая, лежала на снегу рядом с лункой, а Володя осторожно — так, чтобы не заметили взрослые, сталкивал пойманных окуней обратно. Полосатые сильные красноперые красавцы, постояв секунду в растерянности, благодарно уходили в темную глубину, а Володя с трудом удерживался от радостных возгласов. Что ему «гора окуней»? Все теперь у него — только ли гора окуней?

День разгорался. Солнце поднималось все выше, а снег оседал потихоньку.

Если бы никогда не кончился этот волшебный день для Володи! Если бы так было всегда...





Василий
АФОНИН

РАССКАЗЫ

I. мальчишки

Сенька спит в сенях под широкой лавкой, постелив на пол старую, дедову еще шубу, подложив под голову свернутую материну фуфайку. В избе ночами душно, окна глухие — не откроешь, и выставить нельзя — мошкара налетит, в сенях вольнее, они из тесин набраны, и в щели свободно проходит ветер.

Сенька спит на животе, навалившись на одну руку, другая отброшена наотмашь, ноги его, исцарапанные, с задранными штанинами — врозь, он спит и не слышит совсем, как через сени ходит мать и ставит на лавку над головой его то ведро с водой, то подойник.

— Сенька, вставай,— негромко просит она.— Пора... Мишка вон уже за быком пошел.

Сенька не шевелится. Он слышит голос матери, но вставать ему сейчас смерть как неохота.

Вчера, приехав с полей, он еще прополол грядку лука, а опосля с Мишкой сыграли за огородом восемь партий в городки. В темноте фигуры чуть были видны, а они все швыряли шаровки, пока мать не закричала с крыльца: «Сенька, спать пора, завтра не добудишься». И уснул он не сразу, долго еще ворочался, обдумывая свои, ребячьи дела, и теперь сон для него был слаще всех пряников.

— Сенька, проспишь! Рябчика-то уведут!

Сенька вскакивает, ударяется затылком о лавку, ойкает и летит в избу смотреть на ходики. Он собирался было заныть спросонья, что вот мать опять разбудила его чуть свет, но стрелки показывали начало восьмого, а в это время он обычно и вставал.

Мать поднялась давно, протопила печь, отстряпалась, подоила и выгнала за ворота корову.

Сенька выходит на крыльцо, зевает, вздрагивая, идет за двор, а оттуда на речку — умываться. Мимо палисада, где росли посаженная еще отцом береза и Сенькой — тополя, мимо бани, заросшей по самое оконце крапивой, по стежке, стиснутой полынью, спускается он к воде. Вода убыла, и, чтобы зачерпнуть в ладони, ему приходится встать на колени и

Рисунки
Е. МОЧАЛОВА.

нагнуться с мостка, с которого мать полоскала белье.

Сенька умывается и видит, как из-за поворота реки, из-за склоненных над водой кустов тальника выплыли белые гуси. Они плыли цепочкой, вблизи зеленого, заросшего осокой берега, и красные лапы их хорошо были видны в воде.

Сенька стоял на коленях, глядя на птиц, а вода падала с подбородка и опущенных рук его.

Пока Сенька идет к избе, лицо и руки высыхают, перед поцарапанным зеркалом, в котором и лица-то ладом не увидать, он приглаживает волосы, потом уже подходит к столу. Никогда он не притронется к еде, не умывшись.

На столе стоит кринка простокваши, в тарелке — пироги с картошкой и зеленым луком. Сенька прямо через край пьет простоквашу, сует в карман два пирога и, сняв с изгороди веревочную уздечку, идет за деревню на луговину ловить быка.

— Сумку собери, мам!— кричит он уже за воротами.

День начинался с ветерком, небо было высокое и чистое, только по краям его из-за леса кое-где выползали облака. «Хорошо будет возить, не жарко, и паута меньше»,— отмечает Сенька.

Быков он нашел за ручьем, они уже напаслись и теперь лежали, пережевывая жвачку. Каждое утро еще до свету пастух выгоняет быков, чтобы они наелись до того, как их возьмут в работу.

Подошел Мишка — он с Сенькой в одном звене,— стал ловить своего Жука. Бык у него большой, черной масти, два года всего в работе, до этого производителем был. Зимой, когда за дровами едут, чаще других его запрягают, любой воз наложи — нипочем, прет по глубокому снегу, груза не чувствуя.

— Засо́ни мы с тобой, Генка уже уехал,— говорит Мишка и ведет Жука к пню, чтобы с него взобраться на бычью спину.

— Успеем.— Сенька надевает уздечку на своего Рябчика. Бык пестрый, оттого и зовут так. А у Генки — Звездач, сам бурый, а на лбу — с ладошку пятно белое. Сколько есть быков в стаде, у каждого имя. И у лошадей тоже.

Расправив поводья, Сенька кладет руки возле передних лопаток быка, чуть присев, подпрыгивает и, навалившись на бычью хребтину, ловко перебрасывает ногу.

— Н-но, Рябчик!

У Мишки сумка с собой, через плечо на лямке висит. Сенька, проезжая мимо дома, снимает с ворот свою, приготовленную матерью, и они едут за деревню на дальние сенокосы.

Быки идут рядом.

— Хочешь гороху? — Мишка лезет в карман и вынимает горсть стручков.— Первые, скоро морковка поспеет.

— А у нас еще не налился.— Сенька берет горох.— Я смотрел вчера. Маманя поздно посадила.

— Генка удрал, не дождался нас.

— Догоним, у него — тихоход.

Дорога малоезженая, затравеневшая, подорожнику много по ней, проходит недалеко от реки, отделенная полосами хлебов. Быки хоть и наелись, а нет-нет да и потянутся в сторону, чтобы хватануть на ходу метелки овса.

— Знаешь, как это место называется? — указывает Сенька на ровный берег, поросший коноплей.

— Нет.

— Романюхина рига.

— Откуда ты узнал?

— Маманя рассказывала. Тут раньше деревня стояла, а на этом вот месте, возле черемухи, дед жил, рига у него была. Сгорела она потом. А чуть дальше, где речка поворачивает, мельница. Там до сих пор столбы видны.

Вокруг деревни все чуть приметные места издавна имеют названия. Если едут зимой мать с Сенькой за дровами, то на Моховое болото или за Горелую вышку. Сено для своей коровы мать косит за дегтяркой: ручей верстах в двух от деревни в речку впадает; в самом верховье его, возле леса, избушка когда-то стояла — деготь из бересты гнали. Там мать и косит.

Омута́ на речке также названы: Глухой или Ракитовый, а уж дороги — обязательно. Вот эта, по которой едут Сенька с Мишкой,— Косаринская. Ведет она к месту, где тоже когда-то была деревня — Косари. А место, где сегодня будут метать,— Бокчар, в самом углу, возле бора.

Второе лето Сенька помогает колхозу — копны возит. Теперь он заправский копновоз — рысью ли, шагом, как на скамье, на бычьей спине сидит, свесив ноги на одну сторону. А прошлым летом сесть на быка сам не мог — подсаживали.

Каждое лето сенокос начинают косари. Неделю-полторы в полях только конные косилки да бабы с литовками. А как первая кошанина подсохнет, гребщики выезжают — сгребать, а следом бабы идут, копнят сгребленное. И еще день-другой стоят копны, ветром их обдувает, а уж потом звено выезжает метать.

Наутро метать, а с вечера бригадир верхом объезжает деревню — копновозов предупредить. Взрослые, те сами в контору придут, узнать — кого куда.

Так было и прошлым летом.

Сенька от матери узнал, что завтра начнут метать, и переживал — пригласит его бригадир на работу или нет.

Бригадир подъехал уже в сумерках.

— Вот что, Семен,— по-взрослому назвал он Сеньку (тот сидел на крыльце, подгонял держак для сковородника),— завтра по погоде если — с утра в контору. Звенья собирать будем. Сходишь на скотный двор, быка себе выберешь.

— Я Рябчика возьму.— Сенька отложил сковородник.— Ленька Спирин на грабли идет, а быка мне.

— Возьми Рябчика,— согласился бригадир и повернул лошадь — уезжать.— Не опаздывай.

— А в звено какое меня?

— На Косари, к Митьке Плухову.

Сенька влетел в избу.

— Мам, на́ сковородник — готов. Завтра пораньше разбуди меня и сумку собери, копны возить поеду. Бригадир приезжал.

— Ну, ложись тогда,— мать возле окна штаны Сеньке зашивала — подняла голову нитку перекусить.

Сенька послушался, лег. Но долго не мог заснуть, тревожился, как бы Рябчика кто раньше него не захватил.

Копновозов завтра, если два звена соберут, выедет человек шесть, а три — так все десять. Правда, в первые дни редко когда сразу три звена выезжало. До этого на Рябчике два лета подряд Ленька Спирин возил, а нынче его грести назначили. Ленька уже заходил к Сеньке, раньше, чем бригадир.

— Копны собираешься возить? — спросил он.

— Не знаю,— неохотно ответил Сенька.— Как бригадир.

— Пойдешь. Тебя записали в звено и Мишку с Генкой — я в конторе слыхал. Бери Рябчика моего.

Бык хоть куда, любую копну тянет и не урослив в жару.

— А ты?

— Я — на грабли.

— Коня какого дают?

— Лысуху.

— Бегает хорошо и не трясет почти. Я на ней прокатился разок, конюх давал,— вспомнил Сенька.— Слушай, а если кто первым возьмет Рябчика?

— Не возьмут. Скажешь, тебе передал. А полезут драться — кликнешь, возле конторы буду.

Сенька с Ленькой хоть и не друзья, но часто заходят друг к другу. Ленька немного старше, тоже без отца растет, матери их дружат между собой с войны самой.

Наутро Сенька рано — семи еще не было — пошел за быком. Рябчик ходил в стаде. Сенька сначала гнал его, а потом снял со штанов ремень, накинул на рога и повел.

Возле конторы шумно. Стояли в запряжье телеги, быков копновозы подводили, народ подходил. В первый день выезда всегда так, все сюда идут — узнать, кто в каком звене и на какую работу назначен. Назавтра каждый прямо из дома на место пойдет.

Собрали два звена — по звену на каждую сторону речки. Деревня Сенькина небольшая, дворов до сорока — речка делит ее почти на равные части.

Кладовщик выдает каждому грабли по счету, вилы, черенки для них, веревки — копны возить, а поварихам — продукты для обеда. А бригадир собрал копновозов в сторонке и каждому стал отмерять взмахами рук тонкую, в мизинец, вожжину для узды. Ременных, как на коней, уздечек для быков нет, поэтому делают на них из веревки.

— Смотрите,— показывает бригадир,— потом сами научитесь делать, ничего хитрого тут нет.— Бригадир — маленький ростом, горбатый от рождения и лицом вроде бы недовольный всегда, а добрый. Что неясно если — объяснит или покажет.— Вот как! — Он взял конец вожжины и охватил ею бычью морду выше ноздрей.— Делаем здесь узел. Теперь так.— Длинный конец веревки он перекинул через бычий затылок по-за рогами и спустил по левой щеке к петле на морде.— И здесь узел. А этот конец для поводьев, привязываешь здесь— вот и узда готова. Шорки получили, ребята?

И пошел сам к кладовщику подбирать шорки. Шорка на быка (как и хомут на лошадь) не всякая подойдет — размер определенный нужен. Маленькую наденешь — душить станет быка, когда он воз потянет, большую — плечи сотрешь ему. Выбирай по бычьей шее.

Когда все получили и погрузили на телеги, первое звено поехало от конторы прямо, на Дальний табор, а Сенькино — через мост на Косари.

Сенька, Мишка и Генка в одно звено попали, они и в школу ходят вместе, в один класс. И сидят рядом — Сенька с Мишкой на одной парте, а Генка впереди чуть — на следующей. С осени все трое в четвертый класс пойдут...

Едут Сенька с Мишкой, разговаривают. По дороге их на рысях обошли гребщики верхами. Конные грабли — зависть каждого копновоза. Во-первых, работаешь ты не на быке-тихоходе, а на коне и можешь свободно ездить рысью, а то и вскачь. Да и грести куда интересней, чем копны возить — сиди себе на беседке, на лошадь покрикивай, вожжи ременные в руках. Нажал ногой педаль — грабли со звоном поднялись и опустились тут же, оставив после себя ровный валок сена. Но на грабли сажают ребят постарше, кто года два-три копны повозил — освоился.

Перед самым табором ребят догнала телега. На ней ехали метчики и повариха. На телеге лежали продукты, мешки овса для лошадей, точило, несколько новых граблей. Телегу тащила Голубуха, старая, уезженная кобыла. Ее и запрягают только до табора и обратно. За телегой семенил маленький совсем, с пушистым хвостом жеребенок. Голубуха часто поворачивала голову и протяжно ржала, раздувая ноздри. Жеребенок отвечал ей тонюсеньким голоском.

Ребята положили на телегу сумки, а сами, не заезжая на табор, свернули влево на Бокчарскую дорогу, к вчерашним стогам.

Генка уже сидел под стогом, плел бичик из трех полосок сыромятной кожи. Тут же под стогом были скрыты у ребят шорки с веревками. Сенька с Мишкой пустили быков и сели рядом с Генкой.

— А я вас ж-ждал, ж-ждал, да и поехал, думал, догоните,— сказал он, затягивая зубами узел.

Генка — самый маленький ростом и худой — болеет часто. На быка сам еще не может сесть, все просит, подсадили чтоб, или с пня садится. Лицо у него чистое, девчоночье, с острым подбородком, белые волосы до глаз. Говорит Генка мало, заиканья стесняется. И в школе тоже молчит — даже когда и знает, спросит его учительница, а он покраснеет сразу. А товарищ добрый. На нем черная, с белыми пуговицами рубаха, серые штаны с двумя круглыми заплатами на заду. Живет Генка с дедом и бабкой. Отец его не пришел с войны, а мать как уехала куда-то на заработки, да так и с концом.

— Гороху тебе оставили,— достает Мишка горсть стручков.— Был полный карман, да съели дорогой.

У Мишки волосы рыжеватые, скатались — гребень не возьмет. Нос задран, а лицо все в крапинах — прямо яйцо сорочье. Он, Мишка, проказливый — того и гляди натворит что-либо. Рубаха на нем цветастая, из кофты материной, видно; под мышками порвана. Штаны без пуговиц, Мишка закрутил их на пупке медной проволокой — держатся. Семья у них большая, одних детей — шестеро. Мать не успевает досматривать.

Сенька ростом поздоровей приятелей и как бы за старшего у них. Лицом смуглый — в мать, волосы темные набок приглаживает. И смотрит серьезно, с прищуром взрослым — редко когда засмеется. Он один у матери, она приучает его к крестьянскому труду, показывает. Да Сенька и сам доходит, валенки научился подшивать этой зимой. Он тоже без картуза и босой, но рубаха на нем крепкая и штаны твердые, чуть не из брезента. Мать нарочно сшила такие для работы, целый день на бычьей спине елозить — небось протрешь быстро. И никак его мать не допустит, чтобы ходил Сенька в рваном на работу, в школу ли. Пусть и не новое, но чистое и крепкое всегда.

— Кислица по ручью есть.— Генка отложил бич.— Я бегал быка заворачивать — увидел, айда!

И только собрались было за ягодой, а тут по дороге из-за осинника вышли метчики, и звеньевой издали закричал:

— Это куда настропалились?! Седлай быков, на новую поляну переезжаем!

А новая поляна — она рядом, за согрой. Копен там около сорока, сено темное, два раза под дождь попадало. Сгребли его неделю назад, копны крепко осели, и по всей кошанине отава заметно поднялась.

Сунул звеньевой руку в копну и присвистнул:

— На стожарах придется начинать.

Свалил три осинки, выгадал из них колья и поставил посредине поляны на манер шалаша — вершины кольев вместе, а комли — в разные стороны. Вокруг этих кольев — стожар — и стали накладывать



основание стога. Стожары тогда ставят, когда сено волглое метать приходится, да еще ветки осиновые в стог бросают, чтобы воздуху место было.

Копновозы разъехались по поляне — с дальних копен начали. Женщины две за ними пошли подкапнивать. А подкапнивать — дело совсем нехитрое. К левому концу шорки, надетой на бычью шею, одним концом привязана длинная веревка. Объезжает копновоз копну так, чтобы копна у него с правой стороны была, а объехав, останавливает быка хвостом к копне, мордой к стогу. Тот, кто подкапнивает, черенком граблей подбивает веревку под низ копны, вокруг, а подбив, натягивает свободный конец и завязывает петлей под правое кольцо шорки. Завязывает так, чтобы конец петли вверх торчал — копновозу удобнее развязывать: подъехав к стогу, дернул за конец петли — и развязалось.

Затянув петлю, подкапнивальщик заходит позади копны и становится носком ноги на веревку (он для того ногой наступает, чтобы при трогании копна чисто взялась), а граблями, воткнув их в макушку, придерживает, чтобы копна не перевернулась.

Если копны давние да место ровное, так возить их — пустяки. Другое дело — в почках, там пока доведешь — замучаешься, перевернется несколько раз. Так и возят.

Звеньевой с напарником уже стог расчали, ходят вокруг с вилами — указывают, где копны ставить.

Звеньевой, молодой еще парень, чуб на сторону, осенью в армию идти. По-доброму если, так не по годам ему работа — сено метать, спину сорвать просто. Но мужиков нет в деревне, второе лето мечет Митька, водит звено по полям. А напарник у него Карл, молчаливый белобрысый эстонец. Митька попервости сгоряча поучать было начал Карла, как работать надо.

— Ты какой стог начал,— указывал он,— ты расчал на восемь центнеров, а у нас на сорок копен.

— Сам знаю,— только и скажет Карл. И свое делает.

Стога он, правда, разводит маленькие, разведя, расширяет постепенно основание, а подняв метра на полтора-два от земли, так же постепенно начинает вывершивать. Вывершит куда с добром, стог получается, как кубышка. Основание у стога и должно быть узким, сено от земли меньше сопреет — понимать надо.

Митька посмотрел раз-другой, видит: Карл знает дело — перестал командовать.

По десять копен на копновоза пришлось — скоро стаскали, правда, и поляна широкая, далеко возить было. Как ни проворно управлялись, а едва поспевали к последнему навильнику. Первый стог всегда быстро мечут, а тут еще сено слежалось, пластами берется. Если на конях возить, так двух лошадей вполне хватает для двух метчиков, только лошадей в колхозе мало, в косилки идут да в грабли, а копны — на быках приходится.

Вот уже подкапнивальщики к стогу подошли подскрести вокруг, метчики за последнюю копну взялись.

— Чья очередь вицы рубить? — Мишка спрыгнул с быка, подошел к приятелям.

— Моя.— Генка взял топор — и в кусты. Ребята за ним — пособить. Вицы рубят по очереди: вообще это метчиков дело, ребятишек никто не заставляет, но они сами, в помощь как бы.

Срубили четыре таловых прута — в комле в руку толщиной, связали попарно верхушками, подали стогоправу, бабке Елене.

Та положила крест-накрест вицы на макушку стога, спустилась по переброшенной через стог веревке.

Митька-звеньевой отошел чуть в сторону, глянул из-под руки.

— Скоро мы справились, центнеров двадцать пять будет, а, Карл?

Карл тоже посмотрел, кивнул согласно — будет.

— Ну, еще один такой — и на обед.— Митька собрал на плечо черенки.— Пошли, ребята!

Это как правило: если вот такие, как первый,— два стога до обеда, а помельче, центнеров на пятнадцать — три. Ну, а после обеда — как получится.

Прошли на следующую поляну, дальше в тайгу. Копен на ней поменьше, но сено грубее, тяжелее — осока. Да и сгребли ее, не дав просохнуть как следует. Разложили и этот на стожарах.

Стог начинают вилами с короткими черенками, ловчее чтоб, а как подавать высоко станет — берут полустоговые. Вывершивать же стоговыми — длинными черенями.

Стог второй медленнее пошел. Место тут не то чтобы кочковатое, но и не ровное, случалось — копны переворачивались. Да и метчики не так уж проворно работали, навильники помельче приходилось брать — осока.

У Карла рубаха навыпуск, темная от пота, сено за шиворот попало ему, морщится Карл, крутит шею. А Митька голый по пояс, пóтом исходит, сенная труха прилипла к телу с первого еще стога.

Солнце греет, и облака, что с утра были, поредели, расползлись по небу. И ветер здесь не чувствовался — согры вокруг.

Сменили метчики полустоговые, вывершивать стали.

Стогоправу при таком сене вдвойне труднее. Осока скользкая, ползет, не держится на краях, то и дело середину набивать приходится.

— Ну и сенцо! — Митька зацепил навильник, а не по силе. Хочет воткнуть конец черенка в землю, чтобы рывком взять наизлом, но конец, хотя и заостренный, не втыкается, скользит.

— Наступи-и! — злится звеньевой, ищет глазами копновоза.

Мишка наступил на конец черня немытой своей ногой, метчик рванул навильник — хряп — стоговой черень надвое.

— ...твою мать! — Митька оглядывается на баб.

Ребятишки копны свозили, обставили ими стог, вицы вырубили, пустили быков пастись, ждут.

— Спросись, Сеньк! — мигает Мишка.

— Погоди.

Тут гребщики как раз из-за кустов вымахали на рысях — и к стогу.

— Куда это?! — напустился на них звеньевой. Злой стал, умаялся с осокой, руки-то не мужичьи.— Кто отпустил?!

— Сгребли все, до самого болота.

— А дальше, за березняком?

— Там вчерашняя кошанина, бригадир велел подождать.

Кони у гребщиков мокрые, устают они за день, потаскай-ка грабли. Да и паут их донимает больше, чем быков, облепят, особенно грудь и морду, и сосут кровь. Им, коням, на грудь мешковину привязывают, чтоб не так кусали, да разве защитишь. Так их, бедняг, искусают — кожа вспухает. Только успевают выпрячь из граблей, косилок ли, кони сразу на спину — и ну кататься по траве. Какой бы ни был справный конь до сенокоса, за лето так вымотается — не узнать.

Видят гребщики, что звеньевой отошел от них, сели молча на коней — и рысью. Тут и Сенька осмелел, шагнул к звеньевому.

— Дядь Мить, можно на табор или еще начнем?

Митька, справясь с навильником, глянул на солнце.

— Езжайте.

От стогов до табора версты три, быки без прута чуть не рысью идут — к воде.

Река тут делает поворот плавный, и левый, пологий берег ее, заросший мягкой травой, какой обычно зарастают дороги, кажется ребятам большим полуостровом из географии.

Когда-то на этом месте жила деревня Косари, постепенно люди разъехались, и стоят теперь на зеленом берегу две избы да амбар. Зимой избы пустуют, весной, во время пахоты и сева, тут обедают трактористы, а как начнется сенокос — останавливается звено.

Первыми на обед приезжают косари на конных косилках. Они и на работу выезжают раньше всех, пока роса да прохлада, как паут поднимется — на табор. Кормят лошадей, пилы точат — ждут, пока жара спадет, потом косят до темноты.

Ребятишки как подъехали, сразу на речку, быков поить, да те и сами к воде тянут — не отвернуть.

За поворотом речки — омут, а немного подальше — тихая, мелкая заводь, в желтых кувшинках по краю. Здесь копновозы поят быков. Замотав поводья на рога, ребятишки пускают быков пастись, а сами бегут на омут купаться. Мишка на ходу стянул через голову рубаху, выскочил из штанов и прямо с разбегу ухнул в воду. Сенька с Генкой смотрели, гадая, где он вынырнет. Мишка вынырнул посредине, отфыркнулся, мотая головой, и пошел отмахивать вразмашку. Потом перевернулся на спину, разбросал в стороны руки и затих.

Генка плавает плохо и воды боится, от берега далеко не отходит — на мели плещется. Бьет ладонями по воде, брызги поднимает.

Сенька разделся, но в речку не полез, сел на траву возле самой воды. Покусывая травинку, смотрел не отрываясь на речку, на черемушник по берегу, на заводь — там, над самой водой, летали стрекозы и изредка всплескивала рыба,— на белое поле овса за поворотом реки.

— Сенька, ты чего?! — кричит из воды Мишка.— Давай!

Сенька не отвечает, он наблюдает за щучонком, тот греется на мели, почти у самых ног мальчишки. Щучонок маленький, с указательный палец, серый, стоит спокойно, чуть шевеля передними плавниками. Мирный такой, а поди ты, вырастет — щукой станет.

У Сеньки на крыше второе лето удочка лежит без дела. В прошлый раз не пришлось порыбачить — сенокос, и на этот раз, видно, тоже. Весь август придется работать, а там — школа. В ненастные дни разве... Да нет — какая в дождь рыбалка? Да если дождь когда, все одно: бригадир работу найдет и старым и малым. Баб всех до выгребу — косить, мужиков — жерди рубить или столбы готовить, а копновозам — возить их на табор. А то веники осиновые вязать заставит — овцам на зиму.

Мишка с Генкой вылезли из воды, легли загорать. Трава нагретая пахнет, закроешь глаза — голова кругом идет.

Полежали.

— Ну что, обедать айда.— Сенька поднял голову.

— Купаться не станешь?

— Нет, расхотелось что-то.

— Тогда пошли.

Возле избы, где повариха обеды варит, прямо на траве лежа, кто сидя на чурбане, обедало звено. В чашки, взятые из дому, повариха каждому наливала лапши и клала кусочек мяса. Хлеб приносили свой.

Ребятишки легли в сторонке, развязали сумки свои. Сеньке мать положила два пирога с морковью, бутылку молока, кусочек хлеба и яйцо

Сенька взял один пирог, подошел к матери, протянул.

— Мам, нá тебе.

— Чего сам-то...— Мать сидела на приступе крыльца, держа чашку на коленях.

— Куда мне два — ешь.

Второй пирог Сенька разделил на три части, угостил Мишку с Генкой.

Сначала похлебали лапши, опосля принялись за свое.

Мишка вынул кривой, в пупырышках огурец, дал откусить всем по разу.

— Самый большой сорвал,— похвастался он.— Отчим его в листве скрыл, а я нашел. Через неделю пойдут — солить будем.

Сенька попил молока, остальное — полбутылки — отдал Генке.

У них коровы нет, так бабка Генке квасу наливает с собой.

— Поп-пробуйте,— заикается Генка.— С медом.

Выпили квас.

— Ух! — Мишка перевернулся на спину.— Объелся, пузо как барабан. Что делать станем?

Можно было пойти в амбар, воробьев погонять, амбар здоровый, соломой крыт, воробьиных гнезд полно.

Можно пойти за черемухой: на острове, между двумя ручьями, куст черемухи — ягода на ней сильная да сладкая из всех.

А можно просто полежать на траве, посмотреть на небо, на далекие плывущие облака.

Женщины-косари, поев, ушли в избу отдохнуть, там прямо на пол сено брошено. И Сенькина мать с ними.

Матери уже пятьдесят, а косит наравне с молодыми — куда денешься.

Косят они на болотах осоку-резучку, попробуй помаши целый день литовкой, подержи ее на весу, над кочками.

Бабы легли, а бригадир собрал их литовки, сел отбивать.

Примостился в тени от стены, поднял горб кверху, тюкает молотком.

Литовки не отбить если, после обеда косить не берись — они от грубой травы болотной тупятся быстро.

Отобьет бригадир, поточит, а потом влезет на свою хромую Горбатуху и поедет шажком на ту сторону речки, на Дальний табор, в другое звено.

Метчики тоже ушли в амбар отдохнуть, осталась повариха одна возле котла, мыла его да посуду протирала.

Косари с сенокосилок поодаль точили пилы. Пила с косилки, что траву срезает, совсем не похожа на пилу по дереву и на литовку не похожа. На узкую длинную полосу стали наклепаны треугольные пластины-зубья. Обе стороны каждой пластины затачивают, они-то и срезают траву.

Один из косарей крутит точило — круглый, шириной в два пальца, камень, насаженный на рукоятку, другой прижимает к камню зубья пилы. На пиле зубьев много, а косарям нужно два выточить. Меняются они, крутится точило, летят искры из-под зубьев.

А ребятишки лежат в траве, смотрят на небо, провожают облака.

— Интересно, куда они плывут? — думает вслух Мишка.— Где у нас север, ага, на восток, значит, в Японию скорее всего.

— Ч-чего ты взял, в Японию, может, еще куда,— засомневался Генка.

— Конечно, в Японию,— загорячился Мишка.— Ветер какой сейчас? Северо-восточный, ну прямо туда и плывут.

— Вот бы сесть на облако, а, Мишк, сел и плыви куда хочешь — кругом все видно.

— Как же, сядешь. Провалишься сразу, что тебе облако, плот, что ли. Они как из ваты сделаны.

— Откуда ты знаешь?

— А учительница рассказывала по неживой природе.

— А если доску положить поперек. Сел на доску, ноги свесил. Только держись покрепче — и все.

— Доску — тоже не выдержит, да и как ты залезешь на нее — высота какая.

— А с самолета если... с самолета можно, подлетел к ней рядом — и прыгай.

Сенька лежал молча, тоже смотрел, как высоко-высоко проплывали над ними облака.

— Мишк, ты кем станешь, вырастешь когда? — спросил он.

— А я к дядьке уеду на Обь. Он там на пароходе плавает, далеко, до самого океана. Он меня звал. Ты, говорит, Мишк, семилетку заканчивай — и ко мне. Я сбегу, все равно отчим житья не даст. Плавать стану. Пароход идет, а ты стоишь на палубе, стоишь и смотришь, стоишь и смотришь. По берегам люди живут, пароходы навстречу гудят... Наша речка в Обь впадает, я по карте смотрел. До Оби можно на лодке, а то на плоту.

— А ты, Генк?

— Я к дедушке на пасеку уйду. У него там хорошо — черемуха вокруг, тихо, только пчелы гудят. Дед старый уже, жалуется: «Умру, кто за меня останется...» Он всю жизнь на пасеке.

— А ты сам, Сеньк?

— Я травы стану искать, лекарство в которых содержится. Буду ходить по полям и искать. Есть много трав, из которых лекарство делают, я книжку читал. Или за птицами наблюдать стану. Заведу тетрадку и буду записывать какая птица где живет, как гнездо вьет...

Бригадир покончил с литовками, растолкал звеньевого.

— Поднимай людей, солнце вон уже где.

Митька, встрепанный, с мятым лицом, поднялся, закричал копновозам:

— Ловите быков!

Бабы вышли из сеней, стали не торопясь разбирать литовки...

До вечера сметали еще два стога. Возвращались поздно.

Тени от кустов закрыли дорогу, в хлебах стрекотали кузнечики.

Быки устало переставляли ноги.

Завтра бригадир заметит стога и скажет, кто сколько заработал.

Сенька свои трудодни записывает на листок и материны.

Осенью они что-нибудь получат на них...

...Отпустив быка, Сенька помыл руки сел за стол. На ужин была картошка с молоком.

— Наелся. Что тебе подсобить?

— Ложись, все сделала. Да и я лягу, руки отнялись совсем.

Мать пораньше немного пришла, успела корову убрать, ужин сготовить.

У них, баб, окромя колхозной работы, своей невпроворот.

Сенька хотел еще сходить к Мишке, да передумал.

Посидел на крыльце, слушая, как затихает деревня, потом пошел спать.

---

2. димкина жизнь

— Все,— сказал Орлов, стряхивая мокрые кисти и ставя их в глубокий пластмассовый стакан.— Ты куда сейчас? За парнем? Супруга не приехала?

Его товарищ Новоселов, отойдя к противоположной стене, склонив чуть голову, рассматривал работу-заказ, которую они только что закончили.

— Не приехала,— ответил он.— Левый нижний надо бы подправить. Как по-твоему?

— Давай завтра, на свежую голову.— Орлов мыл над раковиной руки.— Глаза болят.

— Давай завтра,— согласился Новоселов.— У тебя есть с собой деньги? Одолжи три рубля, вечером отдам.

— Не затевал бы ты.— Орлов шарил по карманам.— Зацепишься, опять пропала неделя. В среду работы сдавать.

— Пива выпью по пути.— Новоселов мокрыми ладонями чистил-отряхивал брюки.— Целый день воду тянем из-под крана при такой жаре. О-о, семь скоро. Димка ждет. Заходи часов в девять.

И закрыл дверь.

Мастерская, где они работали, находилась на первом этаже, окнами в сквер, и Орлов, расставляя табуретки и подбирая скомканные обрывки газет, о которые вытирали кисти, видел, как, опираясь на костыль-палку, прихрамывая, Новоселов уходил по дорожке и скрылся за деревьями...

Когда он подошел к детскому саду, сын его, Димка, собранный уже, стоял в ограде, держась за штакетины, и, вытянув шею, смотрел на улицу.

— Папка,— сказал он, увидев отца,— ты опять опоздал. Всех уже увели, а я жду-жду.— И заплакал.

— Ну, ревушка-коровушка.— Новоселов платком вытер сыну глаза, нагнулся к нему и пошептал что-то на ухо. Димка обнял отца за шею, засмеялся. Они взялись за руки и пошли домой по улице, по которой Димка ходил два раза на день — в детсад и обратно.

Это была тихая улица окраины, с деревянными тротуарами, возле которых росли деревья. Дома стояли окнами на улицу, ставни окон были покрашены в синий или голубой цвет, а заплоты — в темный. За заплотами зеленели огороды, цвели подсолнухи и картошка, совсем как в деревне у бабушки, куда Димку возили однажды. Димке нравилось ходить по тротуарам. Если жарко, можно выбрать сторону, чтобы быть весь путь в тени. Он шагал впереди отца, доски скрипели, прогибались и слегка пружинили. Можно было найти доску послабее и покачаться, встав посредине.

— Мамка не приехала? — Димка мелко ступал сбоку, держась за отцов карман.— Сколько дней прошло, а ее все нет и нет. И письма она нам не прислала?

— Скоро приедет.— Новоселов стучал костылем по доскам.— Еще недолго осталось. В следующую субботу пойдем встречать ее. А письмо завтра получим. Ты чего?

— Папка, а где собака? — Димка остановился напротив ворот одного дома. Спрыгнул с тротуара, заглянул в ворота.— Нет ее.

— Какая собака?

— Пестрая. Утром здесь лежала. Лаяла на нас. Ты разве не помнишь?

— Забыл,— сознался Новоселов.— Ну, где... Убежала куда-нибудь. Ты вот что, Дим... Посиди здесь немножко, а я пока папирос куплю. Хорошо? Во двор не заходи. Я быстро.

— Хорошо,— согласился Димка и сел на низенькую скамеечку, возле облупленного дощатого забора. Но сидеть одному было скучно, собаки не было, и Димка пошел вслед за отцом. Завернув за угол, Димка спрятался за дерево, выглянул и увидел, как отец быстро направлялся к ларьку, где в очереди стояли мужики. Отец поздоровался с одним из них, потом купил папирос и заторопился обратно. Димка вернулся к скамейке.

Они взялись за руки и скоро подошли к своему дому. Димка жил в конце улицы, в большом кирпичном доме, на третьем этаже, где у него была своя комната. У папы с мамой тоже была комната, только большая, в три окна. В его комнате стояли кровать, стол и табуретка, на стене — вешалка для одежды, в углу — картонный ящик с игрушками.

Димка снял в передней сандалии, прошел к себе и затеял игру. Он наложил в кузов машины кубиков, сзади привязал раскрашенного коня на колесах, завел машину и пустил ее из одного угла в другой. Машина легко покатила по гладкому полу, конь весело бежал следом. Сделав полукруг, она уткнулась радиатором в батарею. Тогда Димка постелил на пути тряпку, машина сразу же забуксовала, прокручивая задние колеса, а конь смирно стоял, дожидаясь, когда она тронется. Поиграв, Димка пошел к отцу в кухню, и они сели ужинать.

Потом пришел Орлов.

Отец стал показывать ему свои работы, Орлов смотрел их и хмыкал.

— Ну вот... получилось. Давно бы так. Меньше хандрить надо и обращать внимание на разных там...— Он покосился на Димку.— Это гораздо лучше, чем то, что ты выставлял на областных. Все четыре и предложи на зональную. А после зоны будем принимать в союз. Я дам рекомендацию.

Они разговаривали, а Димка забрался на диван и срисовывал в альбом картинку из книжки. Орлов ходил мимо, объяснял отцу, фыркал и размахивал руками. Он ниже Димкиного отца, лыс со лба, широкое пористое лицо по низу охватывает редкая, рыжая борода.

Димке пора было мыться и ложиться спать. Отец ушел приготовить постель, а Орлов сел рядом.

— Ну-ка, ну-ка,— сказал он, забирая альбом.— Что у тебя получилось? Это флюгер, значит. А почему криво стоит? Ветер откуда?

— Сбоку,— пояснил Димка. И добавил:— Скоро мамка приедет. Мы с папкой соскучились. Пойдем встречать ее.

— Приедет, приедет, приедет,— черкал Орлов карандашом, подправляя рисунок.— Вот если бы она задержалась там на месяц, было бы совсем хорошо.

— Она через неделю приедет. Так папа сказал.

— Папа... Эх, ничего-то ты, брат, не понимаешь. На, рисуй дальше.

И неправда совсем. Димка все понимал. Он знал, что его зовут Дима, фамилия — Новоселов, ему шесть — седьмой, скоро пойдет в школу. А родители у него художники. Папа способный, а мама так себе. Это сказал Орлов. Он добавил еще, что если бы не мама, папа давно добился бы успехов.

— Разве мама мешает папе рисовать?— спросил тогда Димка. Это было вечером того дня, когда Димка с отцом вернулись с вокзала. Пришел Орлов



и сел вот так же на диван. Он был бледен, много курил и все отворачивался.

— Не мешает,— ответил он.— Дело вовсе не в этом, вовсе не в этом.

Димка с Орловым друзья. Димка давно его знает. В прошлое лето знал и в то, которое было за прошлым. А раньше знал или нет, этого он не может вспомнить. Сначала Орлов часто заходил к ним. Возьмет Димку на руки, подбросит к потолку. И еще раз подбросит. А сам кричит: «Оп-па! А ну!»

— Орлов,— злилась Димкина мама,— только урони ребенка!

— Уроню, дочь отдам,— смеялся Орлов и щекотал бородой Димкину шею. Потом брал его себе на колени.

— Ты растешь или нет? — спрашивал он.— Сколько лет уже прожил?

— Расту,— отвечал Димка.— Пять лет мне. А тебе сколько?

— Мне много, брат,— грустно чмокал губами Орлов.— Сорок лет уже.

— А папе?

— Папе тридцать всего. Папа у тебя молодой.

Когда бы Орлов ни заходил, папа всегда показывал ему свои новые работы. Он становился возле окна, повернув картину к свету. Орлов отходил в одну сторону, в другую, смотрел из-под руки и советовал что-нибудь, касаясь линейкой полотна. Папа внимательно слушал, соглашаясь. Спрашивал иногда. Мама тоже показывала Орлову свои работы. И всегда перебивала его. Орлов никогда не спорил.

— Как знаешь,— говорил он.— Я бы на твоем месте переделал.

Мама сердилась и выговаривала Орлову, что он ничего не понимает. Тот пожимал плечами.

— Зачем же ты показываешь тогда? — вступал папа.

Раньше они все дружили между собой и почти каждую неделю ходили к Орловым в гости. Или Орловы приходили к ним. У Орловых была девочка, Лена, такого же роста, как и Димка, а у нее желтая собака Пальма. Они играли с Пальмой, садились на нее верхом, таскали за хвост. Пальма нисколько не обижалась и даже ни разу не залаяла. А потом мама с Орловым поссорилась. Димка помнит, как пошли они все вместе к тете Оле, которая всегда шила маме платья. Там было много народу, человек десять, и среди них дядя с усиками, родственник тети Оли. Димка его уже видел однажды здесь. Тогда дядя с усиками поцеловал маме руку и сказал, что он тоже художник и что ему нравится, как мама рисует.

Взрослые разместились за большим столом, а детей усадили за маленький. Димка повернулся и увидел, что папа, угнув голову, сидел рядом с Орловым, мама в стороне от них, а напротив нее — дядя с усиками. Он узнал Димку, подмигнул ему и стал гром-

ко говорить о каких-то пейзажах, хвалил маму и все смотрел на нее. Мама краснела и часто протягивала через стол руку с бокалом, чтобы чокнуться. Заиграла музыка, все пошли танцевать. Дядя с усиками сразу пригласил маму и танцевал с ней весь вечер. Он кружил ее и говорил что-то, но уже негромко. Когда они проходили рядом, Димка услышал слова: лето... дача... Глаза у мамы были почти закрыты, она улыбалась и кивала головой. Орлов посмотрел на маму, оделся и ушел домой. А папа увел Димку на кухню. Там он выпил подряд два раза и курил у окна все время, пока не стали расходиться. Когда прощались в прихожей, мама, целуя тетю Олю, сказала:

— Хороший мальчик.

Димка решил, что она говорит о нем. Доро́гой папа с мамой поссорились. С того времени они часто ссорились. Орлов стал бывать редко. Раньше вечерами все сидели дома, смотрели телевизор. Или читали Димке вслух. Теперь они оставались вдвоем. Мама уходила к тете Оле или к тете Жене. Папе она объясняла, что учится кроить и вязать. Папа молчал. Когда наступило лето, Димка все спрашивал, когда же они поедут к бабушке в деревню. Папа сказал, что скоро, и написал бабушке письмо. Но в деревню они не поехали. Мама не захотела.

— Хочу на дачу,— сказала она таким голосом, каким Димка просит мороженое, когда ему не дают.— Что в деревне... Опять скука, комары. Поезжайте вдвоем. Я хочу побыть одна. Сосредоточиться, поработать.

И она уехала. А Димка с отцом остались в городе. Лето было жаркое, пыльное. Димка капризничал и приставал к отцу, когда же приедет мама. Мамы долго не было. Дважды от нее приходили письма на маленьких, исписанных с одной стороны листочках. Папа читал их. Мама писала, что чувствует себя неважно, скучает, скоро приедет и что-то привезет Димке. Просила денег.

«На подарок мне»,— думал Димка.

Папа все это время ничего не делал. Или начнет и тут же забудет, сидит, смотрит перед собой. С Димкой играл мало, да Димка и сам редко подходил к отцу, от него всегда пахло вином. Один раз, проснувшись ночью, он услышал, как отец плачет за стенкой, а диван под ним скрипит, скрипит.

Когда приехала мама, они опять поссорились. Теперь уже отец являлся домой поздно и совсем пьяный. Он приходил в Димкину комнату и ложился прямо на пол. Голова оказывалась под кроватью, а ногами он упирался в дверь, чтобы мама не открыла. Димка вставал, подсовывал отцу под голову подушку, набрасывал на него одеяло, а сам укрывался материным платком. Если отец не приходил, значит, ночевал в мастерской. Как-то заглянул Орлов, и мама принесла из чулана работы, привезенные с дачи. На всех холстах так или иначе были нарисованы елочки. На одном — сарай, за ним ельник, на всех остальных — просто елки. Орлов едва взглянул на них.

— Чтобы нарисовать эти кустики,— сказал он в сторону,— совсем незачем ехать на творческую дачу. Можно сходить в сквер — и только.

Мама ничего не ответила, ушла и закрылась в Димкиной комнате. После этого Орлов перестал бывать у них.

Осень и зиму Димка так же ходил в детсад. Новоселов сам отводил его. Он уже не пил, много работал в мастерской. Брал заказы. Вечерами Димку забирала мать. На обратном пути она заходила на почту, а Димка дожидался возле крыльца. Если было письмо, мать разрывала конверт и читала на ходу, улыбаясь. Не отрываясь, она спрашивала:

— Дима, где ты? Иди рядом.

Прятала конверт в сумочку и целый вечер была веселой. Когда письма не было, мать шла молча и дергала Димку за руку, если он засматривался на что-либо. Зимой писем не присылали. Матери несколько раз говорили навстречу:

— Вам ничего нет,— и они стали проходить мимо почты. А весной уже им встретилась тетя. Она узнала маму и сказала:

— Куда же вы пропали? Вам два письма, с месяц уже лежат.

Мама обрадовалась. И опять она читала письма на ходу, улыбаясь. А разговаривая со знакомой, сказала:

— Скорее бы лето. Так надоело все.

Наступило лето. Маме опять захотелось на дачу.

— Поезжай,— махнул рукой папа,— езжай куда хочешь.

Когда мать уехала, Димка с отцом совсем уже собрались в деревню, пришел Орлов, рассоветовал.

— Получены интересные заказы, жаль терять. Одному не справиться. Кроме того, скоро начнется отбор на зональную выставку. Тебе надо как следует подготовиться. Закончить начатое.

И они опять остались в городе.

Утром, отведя сына, Новоселов шел в мастерскую. По вечерам они сидели дома. Димка разучивал азбуку, а отец занимался своими делами.

Так и жили, пока не принесли телеграмму. Тогда они пошли на вокзал.

Пришли рано. Новоселов усадил сына в тень, а сам ходил по перрону, курил, поглядывая на часы. Встречающих было полно. Когда поезд подошел, все кинулись к вагонам. Новоселов поднял Димку на руки, чтобы не сбили, и продвигался, оглядываясь.

— Мальчики! — закричала жена, первая увидев их. Она шла навстречу, загорелая, в коротком нарядном платье с открытыми руками. Волосы, обычно распущенные по плечам, были подняты в узел, открывая шею, и от этого жена казалась выше.

— Мамочка! — завизжал Димка и побежал к ней.— Мамочка моя хорошенькая.

Новоселов почувствовал, как он побледнел и как дрожит покалеченная в детстве нога. Он подал жене руку, взял сумку, и они пошли от вокзала. Димка шел рядом с матерью.

— Ну, как вы тут? — спросила жена, повернув к Новоселову лицо.— Что же ты денег мало прислал? Я просила двести. Хотела еще японский зонтик купить.

— Не было больше.— Новоселов забыл дома костыль, и идти ему было трудно.— За Димку надо было заплатить.

— Ты разве не получал по заказам в июле?

— Получил,— нахмурился Новоселов,— но ведь у тебя и долгов, слава богу. Дима, ты куда? Вот остановка.

— Да ну-у,— недовольно сказала жена.— В такую даль трястись в троллейбусе. Возьми машину.

И подняла руку.

●

щим инструктором, даже Иван Дмитриевич со мной советуется.

Он подошел после занятий, которые закончились на полчаса раньше.

— Получил зарплату, художник? — спросил он.

— Хотите портрет заказать?

— Куда мне... Физиономия у меня неподходящая...

— Иван Дмитриевич, как можно...

— Я забыл, когда в зеркало последний раз смотрелся...

Я промолчал. Не решился убеждать Ивана Дмитриевича, что он красавец.

— Уходишь скоро? — помедлив, спросил он.

— Ухожу...

— А то смотри... Можно попробовать на полную ставку перевести...

— Надоело с собаками возиться... Псиной, говорят, пропах...

— Аргумент...— Иван Дмитриевич ковырнул желтым, прокуренным пальцем скамейку.— Девчонка, что ли, это говорит?

— Какая?

— Которая с Дзи ходит...

— Вот еще! — возмутился я.— Я Дзи ее учу!

Мы помолчали.

— Хорошая она девчонка...— сказал Иван Дмитриевич и засмущался.— Хочу сказать, понимает все... А ты...

— Понимает все... Вы, как о собаке, о ней, Иван Дмитриевич...

Он вздохнул. Мне стало его жалко.

— Иван Дмитриевич,— вдруг спросил я.— Скажите, добьюсь я чего-нибудь в жизни или нет?

Он с удивлением посмотрел на меня. Папироса чуть изо рта не выпала.

— Откуда я знаю?

— Ну... старый, опытный человек... Глаз — рентген...

— Рентген...— усмехнулся Иван Дмитриевич.— Был бы рентген, поверь, не собак бы здесь учил...

— Я буду приходить сюда рисовать, не возражаете? —спросил я.

— Рисуй...— сказал Иван Дмитриевич. Он смотрел в сторону леса. Первый раз я видел его таким. Я встал со скамейки, а он даже не обратил внимания.

— Все будет хорошо,— сказал я и посмотрел на него. Он не ответил.— До свидания,— сказал я. Он не ответил. Он сидел на скамейке, и дым от папиросы ветер относил обратно на площадку. Там дым рассеивался.

Что-то не видать моих друзей. Я пошел в лес один. Трава еще не пожухла, и кое-где она выглядывала из-под опавших листьев яркими зелеными пятнами. Я разложил этюдник и увидел Дзи, а потом Лену.

— Ты пришел писать этюд? — спросила Лена.

— Вроде бы...

— Я не помешаю?

— Конечно, нет... Можешь даже помочь...

— Каким образом?

— Если встанешь вон под то дерево...

— А если я буду стоять у тебя за спиной и смотреть, что ты рисуешь?

— Тогда ты будешь мешать...

— Ты знаешь, мне кажется, что Дзи больше нечего делать на этой площадке,— сказала Лена.

— Почему?

— Я не буду водить Дзи на выставки, она не научилась ходить по бревну...

— Ты когда-нибудь улыбаешься? — спросил я.

Этюд выходил излишне ярким, правда, осень не боится красок. Лена стояла под деревом в длинном черном пальто. На голову ей упал желтый лист, но она даже не заметила.

— Ну и что? — спросил я. Когда я пишу, то не улавливаю смысла вещей, которые мне говорят. Доходят какие-то словесные оболочки, на которые удобно отвечать вопросами. Но иногда все равно невпопад получается.

— Я тоже...— сказала Лена,— не умею ходить по бревну...

— Проклятое бревно...— пробормотал я, выдавливая из тюбика желтую краску.

Лена стояла около дерева и плакала. Дзи лизала ей руку.

— Что случилось? — опешил я.

Лена повернулась и вытерла слезы.

— Мне кажется,— сказала она,— чем позже человек свалится с бревна, тем больнее...

Только сейчас я обратил внимание, какие у нее длинные ресницы. А еще художник!

— У тебя что-нибудь случилось? — запоздало спросил я.

— Сейчас это не имеет значения,— ответила Лена.

— Действительно,— сказал я.— С какой стати ты должна мне об этом рассказывать?

— Не должна...— сказала она.

— Где ты живешь? — спросил я.— Хочешь, пойдем домой вместе?

— Наконец-то догадался, зачем я торчу в этом дурацком лесу...

— Только не плачь больше...— сказал я.— Потому что если я начну вспоминать свои несчастья...

— О закаленный в бурях житейских! — Она молитвенно сложила руки.— О научившийся падать с бревна!

— Это просто,— ответил я.— Надо делать свое дело...

— А если нет своего дела?

— Тогда не знаю... Надо, наверное, его найти...

— Я больше не буду водить Дзи на площадку...— Лена наконец сняла с головы желтый лист и теперь с недоумением его рассматривала.

— Мы уйдем вместе,— сказал я.— Ты, я и Дзи...— Я смотрел на Лену, на Дзи, которая подбежала к нам и залаяла, на лес и думал, что моя работа на площадке закончилась.





ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПЕРЕКЛИЧКА...

Анкета «Юности»

В канун 60-летия Октября редакция нашего журнала обратилась к ряду советских писателей с просьбой принять участие в творческой перекличке, выражающей идею эстафеты поколений художников, вступавших в литературу в разные периоды послеоктябрьской эпохи. Были предложены следующие вопросы:
1. Какие проблемы жизни и искусства стояли перед Вами в годы Вашего дебюта? Кого Вы считали своим учителем в литературе и кто из Ваших ровесников был Вам творчески близок?
2. Какие качества, олицетворяющие духовный опыт пройденных нашей страной лет, видите Вы в современной молодой литературе?
Мы попросили также прислать и фотографию, относящуюся ко времени литературного дебюта.
В этом номере мы заканчиваем публикацию полученных ответов.



Аркадий Кулешов

1. Мой дебют состоялся в 1926 году, когда мне было 12 лет. Я тогда жил со своими родителями, сельскими учителями, в местечке Самотеевичи. И вот в Климовичской окружной газете появилось мое стихотворение «Ты есть рабочий». Рядом с моей фамилией стояло: «Ученик самотеевской девятилетки, 5-й класс». Это, конечно, дебют условный, потому что настоящее проникновение в поэзию началось гораздо позже — в Мстиславском педтехникуме, куда я поехал учиться. В этом техникуме была секция республиканской студии «Молодняк», которая объединяла тогда юношей и девушек, пробующих свои силы в литературе. И вот тогда я подружился с молодыми поэтами Дмитрком Остапенко и Юлием Таубиным. Они были чуть старше меня по возрасту, лучше разбирались в литературе. Я им читал свои стихи, они их ругали, хвалили—в общем, помогали мне разобраться в самом себе. Оба эти поэта погибли. Сейчас вышли их книги на белорусском языке, есть публикации переводов в центральных журналах. Мне очень хотелось, чтобы сборники Дмитрка Остапенко и Юлия Таубина появились на русском языке, чтобы широкий читатель познакомился с творчеством этих своеобразных белорусских поэтов.

В 1935 году в Минск приехал Александр Твардовский. Он встречался с молодыми белорусскими литераторами. Александр Трифонович разбирал на этой встрече и мои стихи, напечатанные в белорусской газете, и его слова очень сильно помогли мне потом в работе. Но по-настоящему, до конца я понял, что должен делать в литературе, когда прочел поэму Твардовского «Страна Муравия». Как я благодарен тому, что встретил эту вещь в советской литературе! Захотелось свой накопленный опыт, наблюдения и размышления над народной жизнью сделать предметом искусства. С поэмы «В зеленой дубраве» и цикла стихотворений «Юнацкі свет» («Юношеский мир») я веду свое существование как поэт. В 1957 году в предисловии к своей книжке я написал, какое влияние на меня оказала «Страна Муравия», и вскоре получил письмо от Твардовского, где он со свойственной ему скромностью писал: «На днях подписал твою книжку в Гослите в печать, прочел предисловие,— спасибо за твои добрые слова (может быть, несколько завышенные) обо мне». Твардовский и сейчас остается моим учителем.

2. В ответ на этот вопрос я хочу сказать следующее. Мне кажется, что мы недостаточно пристально высматриваем таланты среди молодых. А они есть. И им нужна поддержка. Критика часто замечает интересного автора тогда, когда он уже состоялся и

собственно, в поддержке мало нуждается — всем ясно, что он писатель. Вот почему порой молодыми писателями мы называем людей, которым уже под сорок. Например, совсем недавно перестали называть молодым Валентина Распутина... А вот заметить талант, когда он только заявляет о себе, поддержать его тогда, когда эта поддержка поможет ему осознать себя, укрепиться в себе, избавиться от ошибок, неопытности, этим мы занимаемся мало. Может быть, поэтому у нас мало двадцати — двадцатипятилетних писателей. А хотелось бы...



Григорий Медынский

Казалось бы, чего проще: расскажите о своем творческом дебюте. Кратенько, на двух страничках.

Я начинаю писать и спотыкаюсь на первой же строчке: что есть дебют?

На первый взгляд элементарно: дебют это начало, первый шаг в дальнейшую творческую историю. Но где начинается начало? Разве история мыслима без предыстории? Разве жизнь у всех прямолинейна? И разве можно обо всем этом сказать «кратенько», на двух страничках?

Все очень сложно. Если по-настоящему.

Обо всей своей предыстории — и бытия, и развития, и в какой-то степени творчества — я в ответ на вопросы читателей писал в «Юности» три года назад («Разговор всерьез», 1974 год). Теперь из этого выросла целая книга, нечто вроде «Истории души», но она пока в рукописи, а вопрос требует своего ответа сейчас, и притом откровенного и честного, как подобает писателю.

А тогда я не могу не сказать и не признать, особенно в наши дни празднования юбилея того Великого Года, который Паустовский великолепно назвал «Началом неведомого века», что тогда, в глуши деревенской провинции, я не сразу и не все понял в происходящем, и потому сложная, всклокоченная, по выражению того же Паустовского, жизнь того времени вызвала у меня большие тревоги и смятение духа. И только когда я через год оказался в уездном городе, в другой атмосфере и в другом окружении, и включился в активную работу по созданию только что складывающегося тогда советского аппарата, я стал что-то понимать и в чем-то разбираться. Но решающим, переломным моментом в этом процессе осознания новой жизни оказалась для меня весть о покушении на Ленина, которая потрясла меня и отразилась в моем сохранившемся с тех пор дневнике:

«Я вдруг — именно вдруг — почувствовал свою близость к этой могучей фигуре... Мировая революция неизбежна. Теперь я в это верю. А потому честь и слава Советской власти будет, если она доведет нас до этого момента».

Не знаю, кто как, но я лично считаю эту дневниковую запись, датированную 2 сентября 1918 года, моим первым, настоящим дебютом — дебютом гражданственности, без которого невозможно было и все дальнейшее мое развитие.

А развитие это шло какими-то углубленными и угловатыми путями. Так в самое тяжкое для меня время, среди душевного смятения и бездорожья, нелепая до дикости, совершенно, казалось бы, немыслимая и ни с чем несообразная, новая запись все в том же дневнике:

«А все-таки, когда-нибудь в будущем, я испытаю свои силы на литературном поприще...

Наше время — время переходное, время переоценки всех ценностей, когда разбиваются старые скрижали и пишутся новые. Потому-то и необходимо запечатлеть этот момент борьбы двух мировоззрений, постигнуть их сущность, понять — что в этих мировоззрениях хорошее и что плохое.

Этот кризис должен прежде всего касаться области философии и религии. Религия — создание человека, которое до сих пор считалось великим, поставившим человека на пьедестал святости и славы от соприкосновения с божеством.

Теперь это создание рушится, как негодный истукан, и на его место воздвигается новый кумир — позитивная, материалистическая философия, отрицающая всякое инобытие, кроме человека и его матери-природы. Интересно понять и образно выразить столкновение этих двух мировоззрений».

Образно мне это выразить не пришлось, но решению, вернее, рассмотрению этой проблемы я посвятил несколько лет жизни. Я — сын священника и, вероятно, поэтому я стал ярым безбожником. Ленин где-то высказал очень правильную мысль: каждый идет к социализму своим путем. И борьба с религией была для меня формой отталкивания от старого мира и моим путем к социализму, но не простым вульгарно-нигилистическим: «Крой, Ванька, бога нет!» — а осмысливанием этой эпохальной проблемы.

У Сухомлинского в его книге «Рождение гражданина» есть очень мудрая мысль: «Нельзя «одним махом» расправляться с религией, объявив ее «мракобесием» и «тормозом науки». Такое «ниспровержение» религии только усиливает интерес подростков к ней... Подростки должны понять религию как отражение окружающего мира в сложной, противоречивой духовной жизни человека. Без понимания религии невозможен настоящий атеизм».

Таким примерно путем и я шел дальше, в последующем развитии. В жизни я занимался своими обычными делами — десять лет вел педагогическую работу, из них семь — с беспризорниками, что, видимо, сказалось и на моем творчестве более поздних лет. Но главной, внутренней философской проблемой оставались для меня вопросы религии—жизнь без бога, нравственность без бога, высвобождение и формирование человеческого духа в его собственной силе и величии.

Результатом было то, что я считаю своим вторым «дебютом»: моя первая книга «Буржуазия и религия» и четыре последующих—«Есенин — есенинщи-

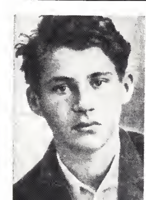
на — религия», «Мученик богоискательства» (Достоевский), «Поэт Некрасов и религия» и большая, в 15 печатных листов, как бы итоговая обобщающая книга «Религиозные влияния в русской литературе».

А моим «чисто» литературным дебютом был роман «Самстрой», написанный на материале моей деятельности на стройке времен первой пятилетки, а подспудно — на материале той большой мыслительной работы, о которой речь шла выше. Поэтому внутренне, помимо изображения стройки тех лет, главной темой романа была мысль: строя завод, мы строим самих себя, ибо без этого мы не можем построить и завод.

Эта «самстроевская» тема перешла потом, как ведущая, и во все дальнейшее мое творчество. Она и в «Марье», и в «Повести о юности», и в «Чести», и, в конце концов, даже в «Трудной книге».

Вот мой рассказ о моих «дебютах». На остальные вопросы не отвечаю. Хватит и этого.

Евгений Винокуров



1. Начало своей литературной деятельности я отношу к концу войны, к послевоенным годам. Передо мной не стояло ни одной «проблемы», мне надо было выразить то, что накопилось во мне за годы войны. Я видел войну во многих ракурсах, и это мне дало тот большой психологический опыт, который мне надо было выразить. Проблема же была в том, чтобы сильнее сформулировать пережитое, максимально «материализовать» увиденное. В то время из поэтов старшего поколения мне ближе всех был Николай Тихонов периода «Орды», «Браги», из сверстников — Семен Гудзенко.

2. Мне нравится, что самые молодые идут вглубь, ищут там, где надо искать: в психологическом опыте современного человека, которого эпоха вывела к раздумьям о судьбах мира, о сложности проблем, стоящих перед человечеством.

Мне нравится, что самые молодые лишены узости и односторонности, что они обладают культурой и тянутся к истине, к серьезности.

Об этом я сказал в стихах:

Прошла война. Рассказы инвалидов
Еще полны войны, войны, войны...
Казалось мне тогда: в мир не Евклидов —
В мир странный были мы занесены.
Я думал, жизнь проста и слишком долог
Мой век. А жизнь — кратка и не проста.
И я пошел в себя. Как археолог,
Я докопался до того пласта...
Я был набит по горло пережитым.
Страдания, сводившие с ума,
Меня расперли, так ломает житом
В год страшных урожаев закрома.
И шли слова. Вот так при лесосплаве
Мчат бревна... Люди, больше я и дня
Молчать не в силах, я молю о праве
Мне — рассказать, вам — выслушать меня.
Я требую. О, будьте так любезны!
Перед толпою иль наедине.
Я изнемог. Я вам открою бездны,
В семнадцать лет открывшиеся мне.
Я не желаю ничего иного.
Сам заплачу. Награды большей нет!..
Внутри меня вдруг появилось слово
И требует рождения на свет.

Владимир Амлинский



В переулке Стопани, в огромном тенистом, перегороженном дощатыми заборчиками, таинственном московском дворе, около старинного особняка, окруженного новыми гипсовыми пионерами, а также в Собиновском переулке, на чердаке дома ГИТИСа, где в мансардной квартирке жил мой лучший в ту пору друг, казавшийся мне первым в стране поэтом, читали мы стихи, стояли до рассвета, пугая прохожих, жильцов... Уже не дети, еще не юноши, сыновья послевоенной Москвы, не помышляющие о литературе, но живущие ею.

Потом в компании, куда мы случайно попали и где царствовал Коля Глазков и покойный Шишло, где в основном были люди совсем другого поколения,— военного, загадочно притягательного, «рокового, порохового», читали какие-то строки, а они смотрели на нас с симпатией и любопытством, а мы на них с робостью и, пожалуй, с любовью. И они спрашивали нас мысленно: «Кто вы? Откуда вы?»; а мы их: «Какие вы? Позовите, и мы пойдем за вами!..»

Они были с минных полей, из довоенных ифлийских аудиторий, сохранившаяся живая струйка довоенного бытия, люди из классов Паустовского, Луговского и Антокольского, а через них — от тех, о ком думалось, как о духах: от Ахматовой, Пастернака, Платонова...

А кто были мы? Послевоенные огольцы, воспитанные в эвакуации, бездомием, ожиданием — то ли писем, то ли похоронок, самоучки, открывавшие для себя Есенина и Блока, литературу...

Не просты были те годы, как не просты и любые другие.

Но радость их, печаль, драматизм, сложность будут впоследствии мотивом и темой нашего поколения.

Всей живой сетью жил и кровеносных сосудов мы были связаны с Москвой. Она была больше, чем

столица, чем родной город, она была Родина, с которой разлучила, развела война... Для меня песенные слова Окуджавы «Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия» — не звучат преувеличением.

И тема возвращения — тема стыка времен, желания найти и понять себя — маленького, незащищенного человека в огольцовской кепке, скитающегося в грохочущем, асфальтовом, железном, взрослом мире, надолго стала темой, как принято говорить, «волновавшей» меня.

«Как это было, как совпало?» — прекрасные по изумлению перед жизнью и приятию ее во всех замечательных и драматических несуразностях строки.

Думаю, что власть литературы над нами, детьми дотелевизорной эпохи, была сильнее, чем над нынешними. Сквозь хрестоматийность куцых сочинений, сквозь красные подчеркивания, убивавшие поэзию, открывался Лермонтов, сначала именно Лермонтов, а уж потом Пушкин, Чехов, Толстой и много позднее — Достоевский.

А еще — как удивительное и даже случайное открытие (его тогда не существовало ни в учебниках, ни в библиотеках) — Иван Бунин. Поразила вначале не живопись, не точность ощущений, не светотень, а чеканная — до гранитности и до гранитности памятниковой — скорбная фраза «Дней моих на земле осталось уже мало».

Пожалуй, чаще всего хочется перечитывать Бунина.

Может быть, близостью к той интонации и очаровал меня во времена наших литературных дебютов Юрий Казаков. До сих пор вижу Рыбинский причал, где в портовой суете читал журнал с рассказом «Голубое и зеленое». Голубое и зеленое долго еще вспыхивало сквозь серую осеннюю рябь в нефтяных разводах.

А вообще-то я в то время покупал журналы, где были напечатаны Э. Казакевич, Ю. Нагибин, Ю. Трифонов.

Помню пятилетие «Юности». Валентин Катаев, идущий вдоль длинного ряда столов, от автора к автору, от Евтушенко к Вознесенскому, от Вознесенского к Аксенову и еще дальше, мимо молодых, менее звонких, но уже узнанных читателем, уже выпорхнувших из гнезда, готовых к полету... Зорким своим оком Мастер разглядел их, рискнул и, кажется, не ошибся.

2. Понятие «молодая литература» — весьма условное понятие.

Что это? Единство судеб, сходство условий, их формировавших, некая общность художественных концепций? Или общность возраста при различности всего остального? В первом смысле «молодая литература» как нечто цельное, как единый поток менее ощутима, менее сформирована, чем, скажем, пятнадцать лет назад. Да и молодые «повзрослели» — непосредственно, в физическом смысле слова. Некоторым из них столько, сколько нам старым — сорок или около сорока. Впрочем, когда подступает цейтнот, работается иной раз неожиданнее, интереснее.

Не буду сейчас говорить о ком-то по отдельности, хотя о многих мог бы сказать, так как слежу, знаю давно... Хочу только сказать, что это люди знающие, чего они хотят, с крепким душевным здоровьем, они уже есть, и они идут заметно и твердо.

Опыт каждого человека неповторим. Опыт поколения складывается из тысячи непохожих опытов, объединенных тем не менее точной и неуловимой общностью.

И вижу в работах этих писателей пристальный интерес к жизни, к «безумному и яростному миру», попытку его осмыслить, понять, улучшить — столь же постоянную и настойчивую, как и у тех,— на много лет старше, что первыми ответили на эту анкету.



Андрей Вознесенский

1. В поэзии главное — откровенность, переходящая в откровение. Первое находит отклик у своего времени, второе — у Вечности.

В моих дебютных вещах — «Гойя» и «Пожар в Архитектурном» — меня мучила идея раскрепощения пластической энергии в музыкальную, а той — в духовную.

Я писал эти стихи на ночных московских улицах конца 50-х. Сносили какой-то особняк. Многое менялось. В воздухе вопрошающе стояла История. Люди думали. Улицы лишились звона — мы, дети трамвайных подножек, расстались с трамваями. Уже ощущалось то, что потом назвали революцией научно-технической. Моих тощих сверстников в толпе отличал особый ритм движения.

И все это — ночной город, смена ритма, утверждение каждого как личности, движение мыслей, надежд, тревог, судеб — все это высвобождалось в духовную — бессловесную пока — энергию времени. Она просила слова, хотела стать содержанием, новой духовной материей стиха.

Через много лет, услышав от Н. А. Козырева об энергии Времени, превращающейся в силу тяжести, я понял, что мои юношеские ощущения были не во всем наивны.

Дебют мой не назовешь безоблачным или гладким. Одновременно с читательским приливом росло сопротивление старого стереотипа. Бывало трудно. Но даже эти невзгоды вспоминаешь сейчас с благодарностью, порой с иронией.

Имена моих сотоварищей тех дней у всех на слуху. Пути всем суждены были разные. Это В. Аксенов, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Ю. Казаков, Б. Окуджава — продолжать ли перечень?

Азбуку искусства мне показали — сосед по квартире, инженер и стихотворец В. Ф. Ярош, открывший мне малых великих российских поэтов XIX века, и В. Г. Бехтеев, который давал мне уроки живописи. Бывший кавалергард, он некогда умчал за границу жену полкового командира и там стал заметным художником. Вернувшись в Россию, он перешел к графике. Бехтеев раскрыл мне законы цвета, композиции и гармонии.

Учителем моим в первородном смысле — не только поэзии, но и жизни — был Борис Леонидович Пастернак. Благодарю судьбу за многолетнее общение с ним еще со школьных лет.

2. О духовной самостоятельности и читательском вкусе сейчас говорят мгновенно испаряющиеся массовые тиражи хороших и разных поэтов, заполненные чаши весов Политехнического и Зала Чайковского. То, что раньше воспринимала горстка, теперь необходимо многим сотням тысяч читателей. Истинному творцу достаточно отзыва одной, двух понимающих душ, а тут — миллионы... Речь идет о создании всесоюзной элиты.

В молодой поэзии назревают эпичность и аналитичность. Я писал об этом в статье «Муки Музы».

Когда-то один редактор, отказывая мне, сказал: «Ваши новоизобретенные недолговечные словечки никому не понятны».

«Какие?» — изумился я.

«Ну, например,— кариатиды...»

Такой редактор теперь был бы курьезом, но душевная малограмотность остается. Молодой, живой и поэтому непохожей строке трудно пробиться сквозь полированный стереотип. Не просто напечататься и Александру Ткаченко, поклоннику Маркеса и Чижевского, бывшему симферопольскому футболисту, да и каждому из его неприглаженных сверстников.

Хочется, чтобы колючки и репейники непонимания остались атрибутами лишь нашего опыта.

Печатать поэзию надо, как писать,— рискованно и вдохновенно.

Владимир Огнев



1. Проблемы жизни и искусства в те годы (только что закончилась Великая Отечественная) воспринимались мною, увы, как бы отдельно друг от друга... Я шел в Литинститут, туго затянув армейский ремень, и бормотал: «Не трогать—свежевыкрашен...» «Трогать» меня никто и не собирался — у людей были свои заботы. Память моя действительно была перегружена — не только «в пятнах икр и щек, и рук, и губ, и глаз», как сказал поэт,— я же был молод,—но и в других «пятнах»—война была, как известно, долгая... Далеко не сразу понял я, что Блок, Пастернак и ранний Маяковский, мои кумиры, в свое время были «выкрашены», болели своей памятью, их опыт мог только разбудить во мне свое, но не заменял и не мог заменить («пусть себе он бог», как скажет потом Твардовской о Толстом) увиденное и пережитое только мною одним...

И современниками моими. Культура, мне кажется, для многих из нас была тогда заманчиво-пугающим своей огромностью подарком, как бы добавленным к «жизни». Наверстать годы хотелось жадно, неутолимо. «Вкус карандаша» (А. Твардовский) был в те голодные годы на первом месте. Были мы разные, и по-разному долго таились в нас тугие, спрессованные войной пласты жизненного опыта. Мы начинали в непростое время; пожалуй, в самое трудное для художника. Помогала нам дружба — та, привычная, из «сороковых». Поначалу, помнится, тянулись не по «жанровому» принципу друг к другу — по цвету петлиц на стареньких шинелях. Моряки, пехота, артиллерия... Так я потянулся к Винокурову, Бакланову, Бондареву — мы знали, что такое «угломер», «прицел» и «стереотруба». «Калибров» же таланта тогда мы не определяли. Гамзатов не имел еще переводчиков, Ваншенкину и не снилось, что с его песней кто-то полетит в космос, а совестливый Тендряков и Трифонов — медлительный и молчаливый — оставались еще в тени... Как всегда, шумели одни, а в литературу вошли другие.

Я рано стал работать в «штате». Может быть, поэтому творческое общение связало меня сразу же не только с ровесниками. С последней лекции приходилось регулярно сбегать — я прыгал на подножку трамвая «аннушка», бежал на Обыденский переулок, в «Литгазету». В отделе критики уже ожидали меня «авторы». Так я рано познакомился с писателями, ставшими для меня одновременно друзьями и учителями. Всех их, а особенно И. Сельвинского, В. Луговского, П. Антокольского, В. Казина, К. Федина, К. Паустовского — прямых «учителей» Литинститута, а потом Н. Асеева, В. Шкловского, В. Каверина, Ю. Олешу, Назыма Хикмета, И. Эренбурга, К. Симонова считаю своими учителями. А если бы я продлил список, то вспомнил бы писателей во многих наших республиках и за рубежом...

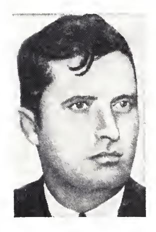
Я не понимаю тех, кто гордится узостью выбора. Чем шире круг учителей, тем больше шансов остаться самим собой в творчестве. И не всегда лично близкий тебе писатель значит больше в твоей судьбе... Я почти не общался с А. Твардовским, но его нравственно-творческие принципы мне особенно дороги. Думаю, что в «учебе» много слагаемых и ни одно из них нельзя недооценивать.

2. Духовный опыт поколений нашего общества так богат, что было бы непростительным самомнением любого поколения обращать на себя предпочтительное внимание современников. Хотя круг чтения нынешних молодых во сто крат охватнее, чем духовная пища моего поколения, я больше всего опасаюсь сегодня нищеты духа, которая выражается прежде всего в неумении оценить сделанное другими, до тебя. Непризнаваемое иждивенчество — злой бич пишущей братии, для которой былое кредо «жизнестроения» понимается как «жизнеустройство». Я принадлежу к числу тех, кто считает, что новаторские тенденции творчества молодых весьма скромны. Тут мало что прибавлено (если прибавлено) к достижениям предыдущего поколения, веско, определенно сказавшего свое слово. В поэзии, например, «последними» олицетворяют для меня «духовный опыт пройденных нашей страной лет» по-прежнему рожденные в 30-х: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Отар Чиладзе, Иван Драч, Пауль-Эрик Руммо, Ояр Вациетис, Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Рыгор Бородулин, Григоре Вие-

ру, Марис Чаклайс, Юстинас Марцинкявичюс, Белла Ахмадулина, Олжас Сулейменов. «Качества» эти — глубина постижения духовных запросов современной личности, правдивость и человечность.

И здесь рядом стоят для меня Ч. Айтматов, В. Шукшин, В. Распутин, В. Быков, Ю. Трифонов, А. Битов, Ф. Искандер, А. Вампилов, принявшие эстафету больших гуманистических традиций нашей литературы от старшего поколения, сами эти старшие, живые и мертвые...

Андрей Лупан



Год дебюта? Если по первому напечатанному стихотворению — то это 1932 год. Старая Бессарабия, бедственная земля. И, может быть, самые обездоленные на Балканах люди. Время — пресловутый мировой кризис. Захолустье. И мы, грамотные ребята, желающие «людьми зваться», а в сущности — отколовшиеся пасынки безграмотной деревни. Чего захотели! Искать жизнь иную, чем у родителей?

Книга для таких парней была как спасение. Хоть к черту на рога, лишь бы получить образование. Но парни «с дипломом» оказались ненужными...

В книгах был «лишний человек», человек «без адреса», или «потерянный». В жизни, конечно, явление было более неприглядным, жестоким. В каждом многодетном крестьянском доме было по крайней мере двое-трое лишних. В городах то же самое. Хуже всего было образованным «лишним». Безработица...

Мой ровесник появился в литературе после «потерянного поколения» той войны.

Молодой писатель искал себя. Самая естественная реакция была защищаться, выбираться из обыденной бессмыслицы. Было, конечно, в поисках и много «измов», отрицающих друг друга или все глобально. Но талант, верующий в свое призвание, хотел ясности, искал смысл и оправдание самому себе.

Крупные, признанные писатели эпохи, даже если не были революционерами, утверждали человека неприспосабляющегося, отвергающего общепринятую норму. С той литературой, которую теперь можно назвать критическим реализмом, мы могли найти и себя в русле народной жизни.

Связи с редакциями или с литературными кругами у меня никакой не было. Связь была читательской, книги я проглатывал неразборчиво и жадно. Но мне повезло встретиться с произведениями большой, настоящей литературы. Были целые периоды, когда я воспринимал мир в состоянии какой-то экзальтации, через прочитанное.

Были долгие высокие праздники, которые могу восстановить иногда и теперь: «Воскресение», «Пер Гюнт», «Униженные и оскорбленные», «Отец Горио», «Гамлет», «Вешние воды», «На дне»... Михаил Эминеску, Михаил Садовяну, а потом Тудор Аргези, Джеордже Баковия.

В то время какими-то еще неочевидными путями к нам пробивался голос нового мира через литературу и искусство.

Прежде чем встретить советскую книгу наяву, я знал о ней косвенно из выступлений таких писателей, как Александру Сахия, Н. Д. Коча, Захария Станку.

Мы тогда с живым переживанием приобщились к поэзии Сергея Есенина в замечательных переводах Джеордже Лесия и уже упомянутого З. Станку. Маяковский пробился к нам позже и не текстами или переводами, а молвой. Говорили, спорили о поэте, цитировали: «светить—и никаких гвоздей» и т. п.

Мой дебют прошел, видимо, под влиянием этого начала. Когда я в первый раз обратился в печать, в бухарестский журнал «Адеверул литерар ши артистик», то это было нарочито «непоэтичное» стихотворение о жуткой жизни деклассированных кишиневской периферии.

Еще через год у меня была решающая встреча на всю жизнь, встреча с коммунистическим подпольем. Целые вереницы вопросов и исканий для меня приобрели стройность и четкий смысл. Во всяком случае, я уже знал, в каком русле я должен искать все разгадки.

И, наконец, состоялось потрясающее открытие советской литературы. Тоже не в стройной последовательности, но это было новое открытие целого мира.

Были среди этих книг «Как закалялась сталь», «Ташкент — город хлебный», «Дневник Кости Рябцева»... Современному советскому читателю трудно себе представить наши тогдашние чувства и то, что означали для нас эти книги. Вспоминаю, как, словно охваченный лихорадкой, ночь напролет читал я роман Ф. Гладкова «Новая земля» — сейчас не все его уже помнят.

А «День второй» И. Эренбурга! Там действовали люди нового склада, и были это молодые строители гигантов пятилетки.

Такие книги помогали осознать моральную ценность труда во имя общего счастья и коллективной ответственности за будущее человечества.

Я не могу — и не хочу, конечно! — с высот своей сегодняшней критической осведомленности подходить к произведениям тех лет, разбирать их достоинства и недостатки и рассудительно определять их место в литературе. Герои этих книг были для нас примером, огнем маяка, зовущего к новой жизни.

После воссоединения Бессарабии с Советской Родиной мы открыли подлинную сокровищницу советской литературы.

И уже после войны состоялась для меня как потрясающее событие самая главная встреча — поэзия Владимира Маяковского. Я уже мог читать по-русски, чувствуя силу его поэзии.

Должен сказать, что люблю поэзию очень разную... Маяковского я читал и перечитывал, пока включился всем своим существом в его стихи. Но я никогда не пытался вести свой стих по примеру великого поэта. Это никогда и не получилось бы. Если говорить о его влиянии, не знаю, в чем выража-

лось оно, но знаю: оно было в структуре моих самых глубоких переживаний и связей с литературой.

Сегодня в молодой литературе я и не ищу, например, черты тех связей, о каких говорил. Но преемственность нашей великой, магистральной литературы, я глубоко убежден, существует в новых исканиях. Не случайно ведь через годы, иногда даже долгие годы окажется, что воплощают силу и богатство наших традиций как раз писатели из самых спорных и непохожих. Традиция нашего лучшего и важнейшего, непреходящая и неистребимая,—это не манера и не структура писания, а слияние с жизнью, достижение самых трепетных глубин участия в судьбе народа. Из этого и выходит новое, интересное, обновляющее. А индивидуальное выражение, какое бы оно ни было, бесконечность стилей и почерков — они создают и сегодня, как и вчера, многогранность видения, красоту и яркость нашего горения. В нем раскрывается величие нашей жизненной и исторической правды.

Наверное, так бывает всегда: лучшей книга выходит не та, которую заранее знают, как написать, а та, которую ищут, которую всегда не знаешь, как писать.



Римма Казакова

1. Мои первые стихи были напечатаны в 1955 году. До того я писала их, но мне не приходило в голову печататься. Откуда возникает это бесстрашное чувство — выйти на площадь и громко сказать то, что родилось шепотом в затаенном уголке души? По-моему, с этого — если необходимость сказать сильнее твоей робости—и начинается человек как гражданская частица общества и литература как общественное деяние.

И пусть мои первые стихи были слабыми, наивными, неумелыми, но все-таки это было не самовыражение — и только, а выражение своего активно положительного или активно отрицательного отношения к каким-то жизненным явлениям. На одном из поэтических вечеров недавно я сказала, что поэзия не профессия, а строй души. Иван Драч, с которым мы были вместе на этой встрече, поправил — или дополнил — меня: «Поэзия — это судьба». Двадцать с лишним лет назад я еще не знала ни того, ни другого определения тому, что со мной происходило. Но складывающийся характер диктовал направление настроению, строю чувствования и определял контуры будущей судьбы.

Мое поколение свое явление в литературе ощущало как нечто органическое, жгуче необходимое. Мы не видели себя со стороны, своей простенькой одежды, своих немодных причесок, косноязычности и неприглаженности своего поведения. Мы не видели **себя** в литературе, мы выращивали этот огромный мир в себе, и нам очень хотелось открыть еще одну жгучую истину человечеству.

Да, это сказано громковато... И все же как звучат известные строки Маяковского о ревности к Копернику: «...его, а не мужа Марьи Иванны, считая своим соперником»! Только так! И эта беспредельная, но бескорыстная, что делает ее простительной, дерзость приносила свои плоды.

Сейчас, уже с высоты прожитых двух с лишним десятилетий, отделяющих меня от первой публикации, понятней стал чужой опыт — опыт предшественников, опыт ровесников. И думается: нет, все верно! Истина, открывшаяся юному сердцу, не субъективна. Как там, к примеру, у Багрицкого?

...Нас водила молодость
в сабельный поход.
Нас бросала молодость
на кронштадтский лед...

Водила молодость, бросала. А почему? Потому что не думает она ни о смерти, ни о выгоде.

И когда у некоторых молодых сегодня я встречаю этакое бережливое себялюбие или не очень умело скрываемый, а то и открытый расчет, я усмехаюсь про себя: «Это мы не проходили, это нам не задавали». Я этого не принимаю и этому, мягко выражаясь, не симпатизирую.

Учителями моими были все прекрасные поэты, которым несть числа и которые по сей день пребывают в этом ранге учителей. А любила и люблю я из ровесников больше всех Евгения Евтушенко, чьей откровенной взаимностью не пользовалась, видимо, по двум причинам: из-за того, что росла и менялась на его глазах, сперва была видна ему под микроскопом, потом — в лупу, а уж совсем потом уже и не важна эта обратная связь... А еще потому, что похожа на него самого. А все однородное отталкивается. Но я внутренне горжусь тем, что при всей неровности и противоречивости поэта Евтушенко и мнений о нем я осталась верна юношескому выбору своего сердца.

Я всегда верила и верю в Евтушенко, в то, что он еще не раз нас восхитит и подарит нам счастливые минуты причастности к ослепительному поэтическому прозрению, к могуществу и красоте творческого начала в человеке.

2. Я очень люблю молодых поэтов, надеюсь, что имею право сказать, что дружу с некоторыми из них, наиболе близкими по духу. Мне хочется, чтобы они входили в литературу без неприятных издержек этого процесса, пропорционально их таланту, и труду, и нравственности. Рада, что к судьбе многих как-то причастна.

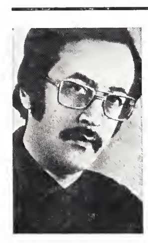
Николай Дмитриев, которого мы совместно с Н. К. Старшиновым «открыли», стал лауреатом премии издательства «Молодая гвардия» за лучшую книжку года и сдал рукопись новой очень неплохой книги. На моих глазах и, наверное, с каким-то моим душевным участием растут успешно такие поэты, как А. Бобров, О. Чугай, Л. Воропаева, Н. Кондакова, Т. Веселова, А. Чернов, Г. Касмынин и другие.

Недавно «Литгазета» почти целиком опубликовала поэму Г. Кружкова с моим, так сказать, напутствием. На Дальний Восток, где я возглавляла группу писателей, проводивших Дни литературы, на свой, как говорится, страх и риск взяла трех молодых поэтов, еще не членов СП СССР: А. Боброва, А. Щуплова и Вл. Верстакова. Они там прекрасно себя проявили и как товарищи и как творческие люди.

Надеюсь, мои молодые коллеги, прочтя эти строки, не сочтут, что я веду себя этаким Лит-Чапаем: «...Приходи ко мне в полночь—заполночь...»

Но я действительно очень радуюсь их успехам и своей скромной доле участия в нем. Не могу сказать, что чересчур либеральна. И, конечно, не безгрешна в оценках. Но, видит бог, хочу искренне и всем опытом, всем своим разумением идти рядом со всем молодым и талантливым и, если понадобится,— подставлять плечо, как это делали мои незабвенные старшие...

И вообще, несмотря на то, что сложна жизнь тех, кто связался с этим проклятым и прекрасным ремеслом,— как поется в популярной песне: «Нет причины для тоски!»



Василий Ливанов

1. Для меня каждая моя новая работа — дебют. Если художник, писатель способен отличать в себе жизнь от искусства, то, по-моему, это беда. Такой художник делает искусство средством для разрешения своих насущных жизненных проблем.

«Желаю Вам счастья, из которого рождается искусство»,— написал Б. Л. Пастернак мне, тогда очень молодому человеку, на книге своих стихов.

Из счастья житейского, благополучного, самоуверенного — убежден — никакое искусство родиться не может. Письменный стол — может. Дорогой, полированный, с тяжелыми тумбами, со множеством ящиков для хранения архива... и это еще в самом безопасном для читателя случае.

Весь я — дебютант в моей первой повести. Так мне кажется...

Об учителях.

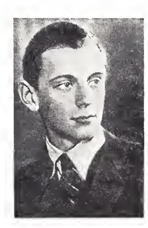
Сергей Эйзенштейн считал, что научить ничему нельзя. Можно только научиться. Своими учителями считаю тех писателей, у которых есть чему учиться.

Все мои ровесники близки мне творчески. Каждому солдату атакующего строя близок и дорог каждый в этом строю.

А мы атакуем трудную высоту — наше будущее.

2. Прежде всего преемственность. Идейную, нравственную, гуманистическую.

Современную молодую литературу, по-моему, отличает борьба за право искусства осмысливать традицию не как простое повторение известных истин, а как развитие принципов.

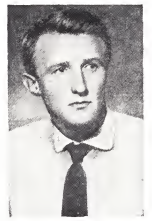


Сергей Михалков

1. Меня взволновали текущие события в мире, действительность.

Направляли меня в литературе А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, С. Я. Маршак. Из ровесников ближе других были К. Симонов, Я. Смеляков.

2. В современной молодой литературе я вижу растущее мастерство, профессионализм, смелое вторжение в психологические глубины характеров современника (Ю. Бондарев, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов, А. Алексин и другие).



Станислав Золотцев

Печататься я начал в 1970 году. Тогда большая подборка моих стихов была опубликована в журнале «Аврора». Однако относиться к поэтической работе как к жизненно важной потребности я стал несколько раньше — примерно в середине прошлого десятилетия. Мне да и многим моим сверстникам,

начавшим тогда писать, были близки мысли и чувства предыдущего поэтического поколения, по крайней мере нескольких его представителей, которые сейчас стали мастерами. Однако (хотя и трудно в нескольких словах выразить все, вспомнить все, что тогда, в 20 лет, творилось в душе) одним из главнейших импульсов творчества, по-моему, было, может быть, подспудное, но острое ощущение того, что время нашего созревания — совсем другое время, что мы другие, что писать так, как старшие собратья по перу, не хочется и не можется. Вероятно, хотелось выразить в стихе свою неповторимость, особенности поколения, родившегося в конце войны и во второй половине 40-х. Я понимал, что мы и мыслим и чувствуем уже иначе, чем люди, созревшие в 50-х годах. Лучше мы или хуже, тогда этого не знал и сейчас не уверен, да и не в этом дело — важно другое: я знал, что у меня есть что сказать, о чем сказать, что я знаю, имею в сердце н е ч т о, чего никто не может сказать, кроме меня. Другое дело—удалось ли мне и нам это выразить так, чтобы наши стихи стали поэзией. Верится, что отчасти все же удалось...

Я не могу назвать ни одного поэта, который был бы постоянным «богом», примером непреходящей творческой высоты для меня на протяжении всего того времени, что я пишу стихи. Кроме, конечно, Пушкина: он — это воздух, без которого задохнешься. Но в разные годы и его творчество бывает близко мне разными своими гранями: когда-то больше всего любил лирику, затем — поэмы, сейчас — драматургию. А вообще мне какой-то своей чертой являет пример мастерства любой из классиков нашей поэзии. Думаю, что человек, истинно любящий ее, не может «замкнуться» на каком-то одном имени или направлении. В юности были периоды страстного увлечения и Блоком, и Маяковским, и Пастернаком, и Есениным... Затем открылись имена прошлого века — Тютчев, Фет. В последнее время заново открываю для себя Некрасова, потрясен сложностью его. Очень люблю Бунина — это, пожалуй, самая долгая моя «любовь» — с самых ранних лет и поныне. Хемингуэй некогда, отвечая на поучения Эзры Паунда, сказал, что у «всех может кой-чему» поучиться. Примерно такое у меня отношение к современным советским поэтам. Есть несколько имен — они принадлежат поколению поэтов-фронтовиков, которые, можно сказать определенно, повлияли и влияют на мой почерк.

Разумеется, и школа поэтов, начавших свой путь в конце 50-х годов, не прошла мимо меня и моих ровесников. Но если быть до конца откровенным, то мне радостнее всего читать и слушать хорошие стихи своих сверстников: время я слышу прежде всего в их творчестве.

Отвечая на вопрос о преемственности, легче было бы сказать, в чем этой преемственности нет. Она прежде всего в умении (или в желании?) находить и отражать наиболее «болевые» точки жизни, наиболее острые проблемы современности. Но, с другой стороны, время наше настолько усложняется с каждым годом и днем, что делать это сегодня поэту гораздо трудней, чем даже 10 лет назад. Жизнь вносит свои поправки во все понятия и термины литературы. И такие слова, как «поэтическая смелость», «гражданственность» или «мастерство», сегодня нельзя трактовать с тем же подходом, что тогда. А именно так делают многие критики и поэты старших поколений. Думаю, в этом корень неправоты или неточности многих упреков в адрес нынешней «новой волны». Сегодняшняя молодая поэзия, на мой взгляд, стремится к освоению золотых кладезей русского и советского стихотворного слова, лучших традиций. Однако — по себе сужу — прежде всего хочется быть собой. А это сегодня, по-моему, тоже гораздо труднее, чем прежде...



Алим Кешоков

На четыре десятка лет назад относит меня вопрос: какие проблемы жизни и искусства стояли в годы моего дебюта? Поэтому, оглядываясь на пройденный путь, приходится напрягать память, чтобы зримо представить себе точку отсчета, которую нелегко разглядеть с белых вершин нашего опыта. Если скажу: мой дебют был дебютом всей литературы моего народа, не каждый поймет меня правильно, но это было так. Моими предшественниками были зачинатели литературы, коим как бы удалось расклевать изнутри фольклорную скорлупу, подготовить гнездо, в котором суждено было моему поколению набираться сил для дальнего полета, иными словами: преодолеть земное притяжение с помощью первой ступени ракетоносителя и выйти на орбиту профессиональной литературы.

Вот поэтому со мной дебютировала вся литература моей горской республики. Едва освободившись от фольклорного ракетоносителя, литература стремилась тогда утвердиться в сознании масс, завоевать место в общем строю, встать рядом с многовековыми литературами и решать общие задачи—задачи утверждения общественного строя, пробудившего ее к жизни, ибо самым прекрасным, кому обязаны народы своим духовным возрождением, был он.

«Кто сделал первым, тот сделал два» — гласит народная мудрость. В тот период каждый из писателей был первопроходцем, поэтому все, что делали они, оценивалось вдвойне. Это была эпоха открытий, когда мы, опираясь на художественные образцы многовековых литератур, прежде всего русской классической и советской литературы, создавали новые произведения на родном языке.

Скорей освободиться от груза прошлого, преодолеть косность, невежество, пережитки старого, обветшалого быта, расчистить пути новому, утверждать новые нормы морали — в этом состояла задача, поставленная жизнью, а проблема искусства состояла в том, чтобы скорей приобрести право гражданства, достигнуть выравнивания уровня художественных образцов, чтобы молодому искусству доверялось решение жизненно важных задач, то есть стать движущей силой общества.

К моменту моего дебюта закончилась вторая пяти-

летка, а контуры третьей пятилетки были еще более радужными. Пафос созидания захватил все слои общества, рождались города, строились заводы, перестраивался весь деревенский уклад жизни, открывались высшие учебные заведения, библиотеки, театры, художественные коллективы, спортивные сооружения — изменялась экономика, облик моей родной Кабардино-Балкарии. За общей динамикой развития не поспевало сознание горских масс, поэтому молодой национальной литературе — искусству в целом — вменялось в обязанность взять «на буксир» сознание, подтягивать его на уровень развития экономики.

Это в тот момент, когда на родном языке еще не было массового читателя и писатель, создавая книгу, адресовался большей частью к школьникам в надежде на то, что они воздействуют на своих родителей, которые успели не настолько ликвидировать свою неграмотность, чтобы стать читателями. Это был период, о котором нельзя было говорить: писатель пописывает, читатель почитывает, но художественному мышлению народа уже была сообщена динамика движения, дан был ему мощный импульс, и процесс развития литературы был необратим. Взаимовлияние писателя и читателя уже стало фактором, стимулирующим развитие.

В ту пору первых учителей нам рекомендовала вузовская программа по литературе. Произведения Пушкина и Лермонтова, обращенные к горцам Кавказа, потрясли меня, волновали каждой строкой, захватили все мое воображение настолько, что я чувствовал себя, словно оказался в белопенном потоке поэзии, из которой я не мог выбраться, и начал писать стихи. Неодолимое влияние оказывали «Хаджи Мурат» Толстого, «Мать» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, которые будировали мою еще робкую творческую работу в литературе, а Достоевский казался огромной отвесной скалой, неприступной со всех сторон, по которой определяют высоту гор. Когда мое чтение не ограничивалось уже учебной программой, я зачитывался такими разными, но одинаково таящими в себе волшебную силу стихами Блока, Маяковского, Есенина, Багрицкого, Ахматовой, Тихонова, Смелякова.

Нередко мне хочется благодарить судьбу за то, что моими современниками, близкими по духу, по творческой манере, оказались такие, как Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов, Кайсын Кулиев, Мустай Карим, Давид Кугультинов. Стремление быть поближе к ним, ориентироваться по их художественным образцам заставляет всегда напрягать творческие силы, быть в непрерывном творческом поиске. Видимо, существует и между этими мастерами какое-то внутреннее соревнование, помогающее находить новые творческие силы в себе, делать новые художественные открытия.

За ними идет новое поколение, которому предстоит продолжить восходящую линию развития литературы, идти нехоженой тропой скалолаза. Писателям моего поколения, может быть, не составляло больших трудностей взобраться на плечи своих предшественников, чтобы увидеть новые дали художественного творчества, потому что люди моего поколения в основном опирались на ревнителей фольклорных традиций, на представителей доступной всем устной поэзии. Новому же поколению потребуется напряжение всех сил, чтобы подняться на новые вершины творческого мастерства, в свою очередь, встать на плечи своих предшественников и открыть новые горизонты художественного постижения мира.

В литературе молодых я вижу качества, олицетворяющие духовный опыт пройденных нами лет,—это прежде всего диалектическое взаимодействие между литературой и жизнью, когда литература способствует духовному росту читателя, который, поднявшись на ступеньку выше благодаря этому, предъявляет новые, повышенные требования к литературе и этим ускоряет, углубляет и расширяет творческий процесс, побуждает писателей к непрерывному творческому поиску, совершенствованию мастерства, более четкому определению художнической позиции.

Это диалектическое взаимодействие писателя и читателя стимулировало развитие литературы на протяжении всего творческого пути писателей моего поколения. Оно присутствует и в литературе молодых.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Международный Совет по детской и юношеской литературе присудил Анатолию АЛЕКСИНУ Международный диплом Г. Х. Андерсена за книгу «Действующие лица и исполнители», в которую вошли повести, впервые опубликованные на страницах «Юности», — «А тем временем где-то...», «Мой брат играет на кларнете», «Поздний ребенок», «Очень страшная история», «Действующие лица и исполнители», «Позавчера и послезавтра».

Анатолий Алексин включен в Почетный список имени великого датского писателя.

Григорий Куренёв



СТИХИ



Чердачная баллада

Уходит время чердаков,
уводит племя чудаков...
Я дожил до седых волос,
но вряд ли позабуду,
как в далеком детстве довелось
нам приобщиться к чуду.
На чердаке был свален хлам —
бог знает чьи пожитки,
поскрипывало по углам
так, что тряслись поджилки.
И за трубою дымовой,
еще чуть теплой с ночи,
свободно мог нам домовой
привидеться воочью.
Белье сушилось между стрех
на множестве веревок
(оно-то и вводило в грех,
нам думалось, воровок).
Но, преодолевая страх
и заодно запреты,
искали мы, вздымая прах,
и клады и секреты.
Скопилось там добра за век,
а может быть, и за два:
в телячьих корочках «завет»,
сапожной сшитых дратвой:
огарок свадебной свечи,
и керенок вязанка,
и проржавевшие ключи
(не от замков — от за̀мка),
аптекарские пузырьки,
дырявые корыта...
О сколько, веку вопреки,
там было тайн сокрыто!
На улице, бывало, дождь,
занудный, как задачник,
а ты к мечте своей идешь
по лесенке чердачной.
Там на простые чудеса
не наложили вето,
и наволочек паруса
взвились для кругосветок.
Пока в запасе был чердак
с его волшебным миром,
и в вёдро было не до драк,—
они кончались миром.
Казался нам любой чердак
покинутой планетой...
О, как судьба была щедра,
спасибо ей за это!
Все меньше в мире чердаков,
все меньше в мире чудаков.

✪

Мы проявляем
редкое терпение
к стихии
человеческого пения.
Простуженному басу
иль контральто
в Большом театре
не видать контракта,
но, подгуляв,
поет Европа с Азией
«Шумел камыш...»
или Степана Разина.
Поют при свете
и во тьме забоя,
дуэтом
и наедине с собою,
в палящей Кушке,
и в полночном Котласе,
и даже
в звездами пылящем космосе.
Все,
чем живется в радости
и в горести,
как в зеркале,
вдруг отразится в голосе...
Так будем этим даром дорожить,
как птицы небом
и дождем колосья.
Нет ничего страшней,
чем век прожить,
не пробуя свой голос,
безголосо.

✪

В любом дворе, на сквере, в парке,
одни иль с выводком внучат
старухи вещие, как Парки [1],
нить бесконечную сучат.

И средь лифтерш и гардеробщиц
вязальщиц этих — пруд пруди.
На жребий свой они не ропщут:
кто знает, что́ там впереди.

Из-под платков седые космы,
одежка — господи прости.
Они давно в глубокий космос
могли бы лестницу сплести.

Им так и так туда дорога.
Ведь кончится когда-то нить.
А все же слезно просят бога
денек-другой повременить.

И доживают век в надежде,
почуяв смертный ветерок,
что призовет господь не прежде,
чем свяжут внукам свитерок.

И на заре, когда не спится,
а сон вокруг еще глубок,
у них одно спасенье —
спицы
и нескончаемый клубок.

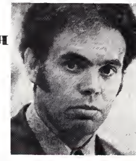
И пальцы скрюченные пляшут,
теряя петлям строгий счет.
Земное время, словно пряжа,
хоть убывает, но течет.

---

[1] У древних римлян — богини судьбы.

Леонид Латынин





Осенние часы

Есть в русской осени особые часы,
Когда сады пусты, но снега нет в помине,
И небо полно холода и сини,
Избытки безразличья и гордыни,
Ложатся с виду равно на весы.

Уже зима живет, еще трепещет лето,
Ах, равновесья чудная пора.
В любовь и смерть высокая игра.
Пусть дождик льет как из ведра,
Ты перерос единственность ответа.

Тебя уже теплом не обмануть,
И холодом не вызвать больше страха,
Ах, баба белая, метель, слепая сваха,
Тебе достанется сухая горстка праха,
А мне — судьба и свет, не обессудь.

А поначалу тот осенний час,
В котором передышка от предела,
Пусть роща над откосом поредела,
Ведь до конца листва не облетела,
И тихий свет над рощей не погас.

✪

Повилика застыла, поникла.
Половина шестого утра.
И нечаянный рев мотоцикла
Только раз обронили ветра.

Хорошо быть во всем виноватым
И кому-то обязанным быть,
Провожаемым сонным Арбатом,
Среди утра осеннего плыть.

Все считать придорожные знаки,
Завязать, наклонившись, шнурок,
Позади колокольни Итаки
Отзвонили последний урок,

Вот и дом твой (подъезд заколочен) —
Он пойдет через месяц на слом.
Понапрасну ты так озабочен,
Словно могут помиловать дом.

Посмотри, как светлеет дорога
И синеет высокая даль.
Отдохни в безразличье немного,
Чтоб минувшего стало не жаль.

Отдохни от привычного долга,
И от призрачных дел отдохни,
Но недолго, недолго, недолго —
Наступают короткие дни...

Тамара Невская



✪

Нет иного родного
языка
у меня —
прелесть русского
слова
ярче день ото дня.
В многообразии звуко-
сочетаний —
вся власть:
и отвага, и мука,
и тревога,
и страсть.

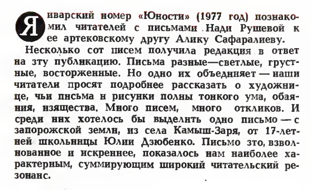
В бесконечности смыслов,
интонаций
и фраз —
и души ненасытность
и целительность
пауз.
Их услышать
и слушать,
повторить и понять...
Что затронуло
душу —
никому не отнять.
Прелесть русского слова
ярче день ото дня.
Нет иного
родного
языка
у меня.

✪

Когда живешь в тиши,
то слава
неопасна,
а летопись души
всегда
негромогласна.
И мысль
несуетна —
а значит,
не буксует.
И путь
ее
причуд
почти
непредсказуем.
И это легкий труд.







Январский номер «Юности» (1977 год) познакомил читателей с письмами Нади Рушевой к ее артековскому другу Алику Сафаралиеву.

Несколько сот писем получила редакция в ответ на эту публикацию. Письма разные—светлые, грустные, восторженные. Но одно их объединяет — наши читатели просят подробнее рассказать о художнице, чьи письма и рисунки полны тонкого ума, обаяния, изящества. Много писем, много откликов. И среди них хотелось бы выделить одно письмо — с запорожской земли, из села Камыш-Заря, от 17-летней школьницы Юлии Дзюбенко. Письмо это, взволнованное и искреннее, показалось нам наиболее характерным, суммирующим широкий читательский резонанс.

«Здравствуй, «Юность»!

Я прочитала «Письма Нади Рушевой», и они на меня как с луны свалились. Кто она? Откуда? Что с ней случилось? Я удивляюсь, почему раньше о ней ничего не знала и не слышала, нигде не видела ее рисунков. И как я жалею, что не узнала о ней немного раньше, хотя бы тогда, когда мне было лет 11—12. Тогда бы моя жизнь была не такой. А сейчас мне 17 лет. И я поражаюсь, как может человек так писать, когда настроение слышится в каждом слове, так рисовать, когда рисунки похожи на кружева или на морозный узор. Как мне хочется быть похожей на Надю, хоть капельку, хоть чуть-чуть. Вы спросите: «Чем же?» Да во всем... И так уметь выразить душу в словах, и так рисовать, и быть жизнерадостной и зажигательной, и так уметь читать книги, как она.

Я до сих пор, пока не прочитала «Юность», думала, что я книголюб. Да, я много читаю. Но читаю в основном фантастику (мою любимую), приключения, путешествия. У нас дома множество книг таких писателей (называю своих любимых), как Майн-Рид, Джек Лондон, Вальтер Скотт. Но я, прочитав какую-то книгу, не могу выделить главное, посоветовать своим друзьям прочитать ее так, как советует Надя, рассказать о книге, и, в общем, не могу поделиться прочитанным. И теперь я с горечью думаю о том, что все прочитанное не принесло мне такой пользы, как, например, Наде. Я читала книги, не обращая внимания на главное в них, не задумываясь о прочитанном. Грустно.

У меня есть дневник. Я пыталась научиться писать так, чтобы страницы его дышали грустью, когда я грустила, или весельем, когда мне было весело. Но после писем Нади я вдруг увидела, что наши записи — небо и земля. Наверно, мне никогда так не написать — легко и красиво.

А Надины рисунки! Какие они дивные и полупрозрачные! Я вас прошу, расскажите еще о Наде Рушевой, напечатайте еще ее рисунки и, если можно, — письма!

Они мне открыли глаза на прекрасное. Мне теперь кажется, что я что-то изменю в своей жизни. Да, наверное, уже поздно? Я ведь в 10-м классе.

Но верьте, я хочу, очень хочу писать и рисовать, а еще больше — быть похожей на Надю.

Сейчас я, наверное, уже десятый раз перечитываю «Письма» и не могу прийти в себя!

С уважением

Юля ДЗЮБЕНКО».

Просьба рассказать о Наде Рушевой повторяется в письмах из разных областей страны.

«Дорогая «Юность», расскажи, пожалуйста, более подробно о Наде на своих страницах, помоги найти какой-нибудь материал о ней... Перед отбоем перечитываем письма Нади... Близок, понятен и дорог нам ее мир... Возможно, мы покажемся невеждами, но никто из нас действительно ничего не слышал о ней раньше. Возможно, мы были не в состоянии понять то, что нам стало понятным сейчас: встречая что-то о ней в литературе, не обращали на это внимания... Армия научила нас понимать и ценить прекрасное, а письма Нади по-настоящему прекрасны». **Это написали из Мурманской области воины С. В. Каретников, С. Н. Елагин, В. С. Голубков и другие.**

Нашим читателям отвечает М. В. Киселев, готовивший публикацию писем Нади Рушевой.

Короткая Надина жизнь — 17 лет и 36 дней — вместила, однако, невероятно много: рассказать о ней поподробней в «Почте «Юности» крайне трудно.

Напомню хотя бы вкратце то, что именуется датами жизни и творчества.

Надя родилась 31 января 1952 года. 23 года спустя, день в день, летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко с борта орбитальной станции «Салют-4» покажет всему миру «Мальчиша-Кибальчиша». И Надя станет первым «земным» художником, чей вернисаж состоялся в масштабах планеты. Но пока ее первая земля — далекая Монголия, и по-монгольски ее имя звучит как Найдан — вечно живущая. Улан-Батор — место зарубежной командировки отца и матери. Родители — балерина Наталья Дойдаловна Ажикмаа и театральный художник Николай Константинович Рушев с единственной своей дочуркой вскоре возвращаются в Москву.

В пять лет появляется первый рисунок; детские фигурки не застыли на нем наподобие неких треугольников на черточках-ножках — они сразу побежали на коньках. Отец читает вслух сказки, мифы древней Греции, дочь слушает, делает свои наброски; развиваются феноменальная фантазия и зрительная память. Рисунки группируются в серии: «Подвиги Геракла», «Одиссея», «Илиада».

С десяти лет посещает она классы изостудии во Дворце пионеров на Ленинских горах, где своеобразие ее способностей замечают педагоги Л. А. Магницкая и А. В. Попов. Девочка не проходит обычной «школы», продолжает импровизировать по воображению. Ее композиции, панно вместе с выставками детского рисунка посылаются и за рубеж — в социалистические страны, а также в Италию, Японию, США.

Одиннадцать лет — знакомство с академиком В. А. Ватагиным. По совету Василия Алексеевича Надю не отдают в специальную школу: известный скульптор-анималист верит, что лучшим образом свое дарование разовьет сама девочка.

Мастерство становится поразительным. Надя работает чаще всего пером и чернилами — в привычной технике, которая не признает предварительных набросков и не терпит никаких поправок, без карандаша и резинки. Есть варианты, кое-что получается хуже, кое-что лучше, но каждое творение возникает в считанные минуты. Поэтому и колоссально творческое наследие Рушевой — около десяти тысяч рисунков. Но точной цифры пока нет. Надя дарила друзьям иногда по 60—70 своих рисунков. Многое не принималось в подсчет, как, например, графика на письмах, тетрадях. (Школьная промокашка вмещала иногда свыше десятка законченных фигур и сцен.)

В конце прошлого года издательство «Изобразительное искусство» выпустило альбом «Графика Нади Рушевой». Он стал уже библиографической редкостью, хотя тираж — 50 тысяч экземпляров. В альбоме 84 иллюстрации, из них 27 цветных, биографическая статья искусствоведа Г. В. Панфилова.

Многих поражает количество Надиных работ, и потому существует мнение, что она рисовала ежедневно и подолгу. Это совершенно неверно — чаще всего перед сном отдавала она полчасика любимому делу: переносила на бумагу зримые образы. Режим дня соблюдался точно, заданным в школе урокам неизменно отдавалось предпочтение, их она выполняла в первую очередь. В старших классах трудней стали даваться точные науки — вспомните ее «анкету». В эти годы заветные полчасика выкроить удавалось далеко не всегда: «Уроки, уроки, уроки!». «Рисовать было некогда»,— горюет она сама.

Двенадцать лет — начало известности, персональные выставки, первые статьи и очерки. Но ничего не меняется ни в жизни, ни в характере, и с той же высочайшей требовательностью к себе девочка продолжает творить «для себя».

В 1966 году Рушева — гость Варшавы. В том же году семья переезжает на новую квартиру в новый район, в бывшее Царицыно-дачное. Восьмиклассница переходит в новую школу, помогает ее убирать, вместе с другими ходит на субботники, собирает металлолом, выезжает на уборку картофеля. Одноклассники только через несколько месяцев узнают со стороны, что Надя, которая на вечерах танцует лучше и веселее всех,—«та самая Рушева».

Окончив 8-й класс, Надя уехала в Крым, в Артек, делегатом столичной пионерии на 3-й Всесоюзный слет юных ленинцев.

Приехав из Артека, Надя начинает переписку с новым другом, Аликом Сафаралиевым.

«Свободное время трачу на рисунки, книги, выставки, лыжи»,— сообщает Надя Алику в конце 1967 года. Книги здесь на втором месте, в жизни они чаще всего занимали первое. В оставшихся папках много фантазийных листов, сказок и балетов «по воображению»: но «зримые» образы возникали у художницы, как правило, после чтения. Надя прослушала и перечитала с пером в руках произведения более 50 авторов. К ней в полной мере относятся слова П. И. Чайковского: «Вдохновение рождается в труде и только из труда».

Очень любила Надя различные поездки, дважды побывала в Туве, на родине мамы, и в своем творчестве отвела немало места Востоку. Хорошо знала Ленинград, объездила большинство заповедных мест Подмосковья. И успевала отвечать на письма, принимать участие в школьных КВН, соревнованиях, кроссах.

«Только что прочитала письма Нади и была поражена. У нее в характере сочетается все: талант и скромность, она любит современную музыку, любит танцевать и в то же время активно участвует в жизни класса, не может жить только для себя»,— говорит о Рушевой Наташа Платонова из Краматорска.

Три ее выставки засняли Московская, Варшавская и Ленинградская кинохроники и телевидение.

В конце февраля 1969 года Надю пригласила Ленинградская студия документальных фильмов. Первая съемка продолжалась неделю. Второй не последовало. Пятого марта десятиклассница — жизнерадостная, отдохнувшая—вернулась из Ленинграда. На следующее утро, после завтрака, собираясь в школу, она внезапно потеряла сознание. Врачи боролись за ее жизнь пять часов, но спасти не смогли. У Нади оказался скрытый дефект, так называемый аневризм одного из сосудов головного мозга. Это редкостное, исключительное явление ничем не проявляло себя вплоть до развязки — произошло кровоизлияние.

«Надя навсегда останется жить в моем сердце... Я преклоняюсь перед ее талантом»,— пишет десятиклассница Людмила Отовчиц из Берездова, Славутского района, Хмельницкой области.

Марина Турнова из Свердловской области продолжает: «Многое узнала из Надиных писем, но хочется знать больше. Ведь это человек нашего поколения. Нужно учиться у таких, как надо жить».

Надя дарила людям свое редчайшее первозданное мастерство, свое нежное и чуткое сердце так щедро, так бескорыстно, что невольно видишь человеческое море, по которому от малого всплеска — короткой Надиной жизни — широко расходятся волны добра и света.

В. КИСЕЛЕВ



Иван ВАСИЛЬЕВ

КРЕСТЬЯНСКИЕ КОРНИ



В августовском номере «Юности» за нынешний год на очередном заседании «Клуба юных» выпускники сельских школ Владимирской области вели разговор о том, что определило их недавний выбор — уехать в город или остаться в селе.

Сегодня каждый школьник и в городе и в селе знает, что развитие сельского хозяйства в 29 областях и автономных республиках Нечерноземья — многоплановая, сложная и чрезвычайно ответственная задача. Государство выделяет громадные средства на проведение мелиоративных работ, техническое перевооружение хозяйств, индустриализацию сельскохозяйственного производства. Однако понятие «освоение Нечерноземья» вовсе не сводится только к осушению заболоченных почв или насыщению колхозов и совхозов современной техникой — тракторами, комбайнами, автотранспортом. Помимо проблем, так сказать, технических, предстоит решить задачи социального и морально-нравственного характера. Многие сложности развития сельского хозяйства этого важнейшего района связаны с оттоком сельского населения.

Об этом и шел разговор в нашем «Клубе». В заседании, помимо владимирских выпускников, приняли участие также директор школы, молодой механизатор одного из совхозов и первый секретарь Владимирского обкома комсомола. Заключительное слово для научного комментария было предоставлено кандидату экономических наук В. И. Переведенцеву.

Конечно, на одном заседании «Клуба», в одном журнальном материале невозможно разобраться во всех трудностях социальной ориентации молодежи. Это было скорее приглашение к большому разговору о проблемах Нечерноземья, о роли и месте молодежи в решении важнейшей государственной задачи.

Первым откликнулся на наше приглашение писатель Иван Васильев. Поиски героя фотоснимка, опубликованного в газете сорок лет назад, стали поводом для серьезных размышлений писателя о воспитании молодого хозяина в селах Нечерноземья.

Рисунок О. КОКИНА.

Под снимком, напечатанным сорок лет назад в областной газете «Пролетарская правда», была такая подпись: «Севец тов. В. П. Павлов рассеивает минеральные удобрения (колхоз «Искра» Ржевского района)». Обратите внимание: севец! Ныне говорят: сеяльщик. И то все реже и реже. Сеяльщик стоит на подножке сеялки, а сеялкой уже управляет тракторист. Севец, жнец, косец, кузнец...— «вымершие» сельские профессии.

Эка невидаль: мужик рассеивает удобрения. Другое бы дело — «фордзон» на поле, все-таки история, перелом. Ну, кому что. Меня заинтересовал «севец В. П. Павлов». Долго разглядываю фотографию. Поле четко обрезано по горизонту — значит, пригорок. В небе грачи. Мужик в валенках — на правом большая белая заплата, в черном полушубке с серой опушкой, в картузе — козырек затенил глаза, бородатый. Через плечо на полотенце «севалка» —

полета на аппарате тяжелее воздуха, тем самым расширив наши представления о природе.

Пришло время, и его идея, его знание пригодились. Так же, как со временем пригодилась как будто совсем бредовая идея цветного телевидения, предложенная в 1925 году американским физиком Эрнестом Лоуренсом — кстати сказать, больше известного в качестве изобретателя первого циклотрона. Через четыре десятилетия одна японская фирма использовала его метод и начала выпускать цветные транзисторные телевизоры на принципе сорокалетней давности. Как сказал великий Фарадей об электромагнитной индукции в ответ министру финансов Англии: «Что из всего этого получится? — Пока не знаю, но уверен, что лет через двадцать вы наложите на это налог».

В понятие «научно-техническая революция» не случайно включено последнее слово. Именно это слово, а не какое-нибудь другое, подходящее по смыслу. Революция есть переход от одного состояния к другому, качественный скачок, этап в развитии. Кроме всего прочего, это и принуждение. Смена одного другим в борьбе. Как известно, ни одна революция уговорами не делалась.

Ускорение научно-технического прогресса сегодня — задача, выдвинутая нашей партией в качестве первоочередной. Ей придается огромное значение, поскольку лишь в условиях социализма ее решение имеет правильное направление, отвечающее интересам всех членов общества. Теперь стало очевидным, что в конечном итоге лишь на базе ускоренного развития науки и техники может быть достигнута главная цель революции социальной — построение коммунистического общества.

Научно-техническая революция не является чем-то отвлеченным, замкнутым лишь в себе. Она оказывает благотворное влияние на все сферы жизни общества. Она требует коренных изменений в подходе к решению проблем экономики, она требует новых методов хозяйственной деятельности, создания условий максимально быстрой реализации научных идей в повседневной практике. Задачи глубоко партийные, актуальные и ответственные.

Научно-техническая революция приблизила деятельность ученого, некогда абстрактную и замкнутую, к повседневной жизни. Стало возможным их интенсивное взаимовлияние. Причем сегодня связь науки с жизнью настолько крепка, что внимание людей независимо от рода занятий и образовательного уровня ко всему происходящему за стенами исследовательских институтов порой поражает социологов глубиной и устойчивостью.

Как-то мне пришлось брать интервью у академика Петра Сергеевича Новикова, который был крупнейшим советским математиком, считался одним из эрудированнейших в своей науке. Когда ответы на все вопросы были получены, я попросил в общих чертах охарактеризовать работу его сына, 28-летнего профессора МГУ, в те дни удостоенного Ленинской премии за исследования по дифференцируемым многообразиям. К моему удивлению, академик сказал:

— А вы знаете, я и сам не понимаю, что он делает. Они забрались в такие заумные дебри, что там черт ногу сломать может.

Разумеется, это шутка. Но в ней фокусируются трудности связи знаний, которыми располагает человечество вообще, со знанием каждого члена общества в частности.

Мир меняется почти как в старой сказке об аленьком цветочке. Сократились расстояния. Увеличились возможности. Телерепортаж с поверхности Луны удивил не каждого. И немудрено. Люди не успели осмыслить одну коренную перемену, как грядет другая. Приходится привыкать. Правда, это не всегда несет с собой более прочное осознание всемогущества человека. Но таков, видимо, закон развития. Охотник, убивший первого мамонта, мог считать себя повелителем вселенной, а первый космонавт както заметил с грустью, что Марс все же очень далеко — около года лететь надо, до Юпитера же на наших «колымагах» вообще не добраться.

Наше время характерно коренными преобразованиями, крупными качественными сдвигами в пользу социального прогресса. На ход этого процесса все большее воздействие оказывает научно-техническая революция. Именно она способствует превращению науки в непосредственную производительную силу.

Любопытно, что из всех ученых, работавших когда-либо на всей Земле, 90 процентов составляют наши современники. Половина результатов исследований, которыми располагает человечество, получена за последние полтора десятилетия. В некоторых областях науки объем знаний удваивается в течение пяти лет. Однако новые знания ставят и новые, все более сложные проблемы. Для решения некоторых из них, таких, как межпланетная космонавтика, изучение климата в глобальных масштабах, предсказание землетрясений, цунами и других стихийных бедствий, уже недостаточно ресурсов одной, даже самой развитой страны. Необходимо сотрудничество многих государств.

Наша страна придает этому важному делу большое значение. Достаточно сказать, что за вклад в совместные исследования 900 советских ученых избраны членами зарубежных академий и различных обществ. Особенно тесные связи установлены между государствами СЭВ. Ими создано около 40 координационных центров, которые объединяют усилия полутысячи научных организаций.

И еще одно соображение.

Уже по меньшей мере три столетия каждое поколение людей не сомневается в том, что оно является современником глубокого преобразования всей суммы человеческих знаний о природе. Однако по этому поводу уместно будет обратиться к высказыванию Ньютона, которое звучит так: «Если мы видели дальше других, то лишь потому, что стояли на плечах гигантов». То есть они, те, кто были прежде, по-своему сделали тоже много.

Оглядываясь назад, нетрудно заметить, что для судеб человечества открытие добывания огня путем трения или выплавки металлов, изобретение колеса или парового двигателя имели такое же значение, как и самые выдающиеся достижения нашего времени. Так что мы строим дом, возводим этажи здания, фундамент которого заложен гениальными мастерами, достойными преклонения. А осознание преемственности всегда облагораживает человека.

Вся совокупность влияния научно-технического прогресса на человечество еще не выяснена. Однако уже сегодня можно говорить о том, что новая технология, облегчая жизнь, является собой в то же время и опасное орудие ее оскудения, что средства массовой информации из умножителей духовного блага могут стать причиной снижения высоких эстетических и этических критериев.

И все же каждое новое утро по-прежнему мудренее вечера. И каждый вечер обещает новое прекрасное утро. Потому что нет предела устремлениям человека. Люди никогда не скажут себе: все, довольно, дальше идти некуда. Это еще древние мудрецы заметили, а они были очень наблюдательны.



ТАЙНА ТЕМНО-СИНЕЙ ШКАТУЛКИ

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения Александра Дюма-отца, романами которого по-прежнему зачитывается каждое юное поколение.

Помните исторический роман Дюма «Ожерелье королевы», действие в котором происходит в XVIII веке и в котором рассказывается о похождениях известной авантюристки графини Жанны де Ламотт? Следуя мнению тогдашних историков, Дюма полагал, что героиня его романа завершила свой жизненный путь в 1791 году в Лондоне, выбросившись из окна. Но так ли это? Есть все основания предполагать, что Жанна де Ламотт умерла лишь спустя 35 лет, и не в Лондоне, а в Крыму.

В 1824 году в имении княгини А. С. Голицыной в Корензе появилась французская эмигрантка графиня Гаше. Она купила домик в Артеке у подножия Аю-Дага, а позднее поселилась в Старом Крыму, в то время захудалой деревеньке. Особа, именовавшая себя графиней Гаше, вела странный образ жизни, возбуждая любопытство и толки среди местных жителей. Замечено было, что она никогда не снимала с себя плотно облегавшую, надетую прямо на тело лосиную фуфайку. Не позволяла служанке находиться в комнате при переодевании, купалась всегда уединенно...

Весной 1826 года, заболев, Гаше, по рассказу служившей у нее старой армянки, провела всю ночь, сжигая какие-то бумаги. Умирая, она просила не обмывать ее тело, похоронив прямо в фуфайке. Тем не менее местные жительницы решили обмыть покойную и когда сняли фуфайку, то на плече обнаружили два знака, как будто выжженных раскаленным железом.

Известие о смерти Гаше достигло Петербурга, и оттуда прискакал фельдъегерь с отношением начальника Императорского штаба Дибича за № 1325 от 4 августа 1826 года на имя Таврического губернатора Нарышкина, которому предписывалось отправить в Петербург оставшуюся после смерти Гаше темно-синюю шкатулку и бумаги. Шкатулка оказалась у директора училища виноделия в Судаке Боде, который был душеприказчиком покойной; выяснилось, что шкатулка не была опечатана после смерти владелицы, и возникло подозрение в хищении части бумаг. Фельдъегерь увез шкатулку, а 4 января 1829 года из Петербурга поступило предписание, требовавшее, чтобы «были употреблены все средства к раскрытию обстоятельств в хищении и утайке бумаг и отысканию упомянутых бумаг». Было произведено расследование: оно установило, что пакет с бумагами существовал, но куда исчезла часть бумаг, неизвестно. Оставшиеся бумаги губернатор отправил особым пакетом. В делах канцелярии Таврического губернатора за 1826 год осталось «Дело № 9» на 40 листах, озаглавленное «Об отыскании в имуществе покойной графини Гаше темно-синей шкатулки».

А теперь возвратимся к событиям, описанным в романе Дюма «Ожерелье королевы». В середине 70-х годов XVIII века парижские ювелиры Бемер и Бессаиж изготовили для фаворитки Людовика XV известной мадам Дюбарри ожерелье из самых крупных бриллиантов, которые они только смогли найти на рынках Европы. Пока Бемер скупал бриллианты и изготовлял ожерелье, Людовик XV умер, и Дюбарри лишилась всякого влияния. Ювелиры предложили ожерелье новому королю, Людовику XVI, за 1 600 000 ливров (свыше 700 000 рублей золотом). Казна была истощена, покупка не состоялась. Бемер в отчаянии ездил по коронованным особам Европы, напрасно стараясь сбыть ожерелье.

В ту пору Париж был наводнен всякими авантюристами и проходимцами во главе с графом Калиостро, имя которого нарицательно и в наши дни. Жизненные обстоятельства привели в Париж и небогатого провинциального офицера, графа де Ламотт. Жена его Жанна, в девичестве Валуа де Сен-Реми, была последней побочной представительницей французского королевского дома Валуа. Ловкая авантюристка, она, использовав это обстоятельство, втерлась ко двору, и между ней и королевой Марией-Антуанеттой установилась странная близость.

Вернулся в это же время в Париж и бывший французский посол в Вене кардинал де Роган. Влюбленный в Марию-Антуанетту, он был в немилости у нее. Зная о придворных связях Ламотт, кардинал просил ее устроить ему примирение с королевой. С другой стороны, к ней же обратились ювелиры с просьбой за хорошее вознаграждение уговорить королеву купить разорившее их ожерелье. Нуждавшаяся в средствах Ламотт решила воспользоваться благоприятно складывавшейся для аферы обстановкой.

В апреле 1784 года с помощью своего любовника Рето де Вильета, специалиста по фабрикации фальшивых документов, Жанна, приняв на себя роль почтальона, организует «переписку» между Роганом и Марией-Антуанеттой. Вильет искусно имитирует почерк королевы. На первых порах у кардинала берется, якобы для дела благотворительности королевы, крупная сумма в 200 тысяч ливров, оставшаяся в кармане Жанны. Но только переписка не устраивает кардинала, и он настаивает на свидании с королевой.

Ламотт подыскивает Николь Легэ, даму парижского полусвета, похожую фигурой на Марию-Антуанетту, и, не посвящая ее в свои планы, объясняет, что королева хочет разыграть веселую шутку. Рогану было назначено свидание в Версальском парке. В полутьме какая-то фигура, одетая в костюм цвета, наиболее любимого королевой, милостиво протянула ему руку, уронив розу со словами: «Все забыто между нами». В этот момент послышался крик Ламотт «Идут!». Мнимая королева (роль королевы Николь Легэ сыграла за 15 тысяч франков) и Роган разошлись в разные стороны.

Во дворце Рогана жил упомянутый нами итальянец граф Калиостро. Он не был причастен к этому делу. Калиостро бессознательно играл на руку Ламотт, устраивая гадания с вызовом душ предков Рогана. Предки устами итальянца предсказывали кардиналу любовь королевы и блестящее будущее. Одураченный, влюбленный прелат, мнивший себя уже первым министром Франции, был готов на все. Ламотт внушает ему мысль, что королева желала бы приобрести знаменитое ожерелье, уплатив деньги из казны в рассрочку. Роль посредника должен взять на себя Роган.

Кардинал приглашает ювелиров, объявляя, что королева приобретает ожерелье с выплатой денег в

несколько сроков. В глазах ювелиров посредничество крупного сановника служит достаточной гарантией. Заключают договор, который Ламотт берет для скрепления подписью королевы и возвращает его с пометкой—Мария-Антуанетта-французская. Подпись не вызвала сомнения ни у Рогана, ни у ювелиров. Ожерелье было доставлено во дворец Рогану и здесь передано им, в присутствии Ламотт, человеку, якобы слуге королевы. Кардиналу показалось, что это лицо он видел в свите королевы. Предполагают, что это был тот же Вильет.

С этого момента ожерелье исчезло бесследно. Заговорщики отделили бриллианты от оправы. Муж Жанны увез драгоценные камни в Англию, где часть их была продана за 400 000 ливров.

Наступил срок первой уплаты, и Роган получил записку «от королевы» с просьбой перенести срок платежа с августа на октябрь 1785 года. Здесь впервые возникли смутные подозрения. Они стали вырастать в уверенность, когда, сличив записку с ранее полученными письмами королевы, кардинал обнаружил, что почерки различные. Тогда Ламотт передает ему 30 тысяч ливров, якобы от королевы, в счет уплаты за ожерелье. Одновременно она импровизирует историю, почему записка королевы написана чужой рукой. Кардинал снова убежден.

Ювелиры, чьи головы не затуманила любовь, заподозрили неладное. Ламотт была авантюристкой большого калибра, она переходит к нападению. Рассчитывая, что Роган не допустит публичного скандала и найдет любые способы оплатить ожерелье, Жанна прямо объявляет ювелирам, что расписка королевы на договоре поддельная. Ламотт не учла, что ювелирам уже нечего было терять. Они бросились в Версаль к Марии-Антуанетте и услышали из ее уст, что ожерелья она не покупала и ничего о нем не знает. Разразился огромный скандал. Король приказал заточить всех участников этой мошеннической проделки в Бастилию.

Заслуживает удивления то обстоятельство, что Ламотт не сделала попытки скрыться ни в начале скандала, ни позже. Видимо, она рассчитывала на высокое покровительство. Из этого обстоятельства и современники и большинство историков делают вывод, что Мария-Антуанетта знала о мистификации, которую проделала от ее имени Ламотт. По всей вероятности, королева, сама склонная к авантюрам, принимала участие в этой истории, и есть основания предполагать, что, сводя счеты с Роганом, она хотела его разорить.

Суд парижского парламента разбирал это дело почти девять месяцев — до 31 мая 1786 года. На процессе выяснилось, что Роган перед арестом уничтожил переписку по этому поводу и в том числе письма королевы. В зале суда Ламотт вела себя исключительно вызывающе, пытаясь всю вину свалить на Рогана и Калиостро, уверяя, что последний подделал подпись королевы на гарантийном письме. Однако показания других участников вскрыли истинную картину. Кардинал Роган и Калиостро были оправданы. Гражданский иск к кардиналу со стороны ювелиров был признан подлежащим удовлетворению в размере полной стоимости ожерелья, но с длительной рассрочкой. Потомки Рогана выплатили последний взнос по иску лишь в 1863 году. Николь Легэ была заключена в тюрьму, Вильет пожизненно изгнан из Франции. Главная героиня процесса, графиня Жанна де Ламотт, была приговорена к клеймению каленым железом и пожизненному тюремному заключению в тюрьме Сальпетриер.

В 5 часов утра 21 июня 1786 года Жанну вывели во двор тюрьмы для приведения приговора в исполнение. Палачи должны были положить на плечо Жанны клеймо буквой «V» (voleuse — воровка). Она вырывалась из рук палачей, вертелась, кусала их, поэтому клеймо вышло неявственно и в изъятие из правил было повторено.

Афера с ожерельем наделала много шуму в Европе. История эта, бесспорно, способствовала подрыву престижа монархии во Франции и росту революционных настроений, как у нас в России история с Распутиным.

В 1787 году Ламотт бежала из тюрьмы в Англию, как говорили, при содействии Марии-Антуанетты. Проживая в Лондоне, она опубликовала скандальные мемуары, обвиняя королеву. В Лондон были посланы люди, которые скупили и истребили все издание. Тайные агенты следили за Ламотт в надежде вернуть часть бриллиантов. А в 1791 году, когда монархия во Франции уже пала, в книге Ламбертской церкви в Лондоне появилась запись о погребении Жанны де Ламотт. Она выбросилась из окна второго этажа и умерла через 9 дней после этого в больнице.

Копию этой записи демонстрировал на заседании Таврической ученой архивной комиссии 26 ноября 1911 года директор Феодосийского музея древностей Л. П. Колли. Но расследование ряда обстоятельств, сопровождавших смерть Ламотт в Лондоне, ее письма незадолго до этого момента к родителям и мужу позволили Колли утверждать, что смерть ее в Лондоне была маской, а запись в Ламбертской церкви подложна. Свидетельства о смерти выдавались в XVIII веке легко, известны многочисленные случаи фиктивных погребений. Жанне нетрудно было сфабриковать документ о собственной смерти и возродиться вновь под именем графини Гаше.

Петербург в начале прошлого века был наводнен французскими эмигрантами, бежавшими от революции. Сред них была и эмигрантка, именовавшая себя графиней Гаше. Это была женщина лет пятидесяти, еще красивая и видная. Она давно жила в русской столице и в 1812 году приняла русское подданство. Она избегала всяких сношений с другими эмигрантами, не любила касаться своего прошлого. Однако было известно, что когда-то она была близка ко двору Людовика XVI.

Однажды в присутствии императора Александра I было упомянуто имя Гаше. «Как, разве Гаше здесь? — удивился он.— Когда меня спрашивали о ней, я всегда утверждал, что ее в России нет. Я хочу видеть ее, пусть она явится завтра!» Желание Александра I было исполнено. Содержание их беседы осталось тайной. Вскоре Гаше переехала в Крым. Переселение было вынужденным.

Загадкой личности Гаше и причинами интереса к ней со стороны правительства занимались историки. Немало писал об этом Луи Бертрен (известный под псевдонимом Луи де Судак), бывший несколько лет французским вице-консулом в Феодосии. Занимались личностью Гаше на страницах Известий Таврической ученой архивной комиссии крупный знаток истории юга России А. И. Маркевич, уже упоминавшийся нами Л. П. Колли и ряд других исследователей. Вопрос этот рассматривался и французским историческим обществом, признавшим правильность точки зрения Бертрена и Колли, доказавшим тождество графини Гаше с Жанной де Ламотт.

Прах титулованной авантюристки, которую Александр Дюма сделал героиней своего романа, покоится на кладбище Старого Крыма.

Г. ЗАЩУК

1976

1977

ВОТ ТАК «СПАР-ТАК»!

ВОТ ТАК «СПАР-ТАК»!

ВОТ ТАК «СПАРТАК»!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ»
18 сентября
ФУТБОЛ
ПЕРВЕНСТВО СССР
Первая лига
«СПАРТАК» — «НИСТРУ»
(Москва) (Кишинев)
НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ.

Юрий
ЗЕРЧАНИНОВ

СТРАСТИ ВОКРУГ «СПАРТАКА»



Оформление
О. КОКИНА,
С. СЕМОВА.

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ